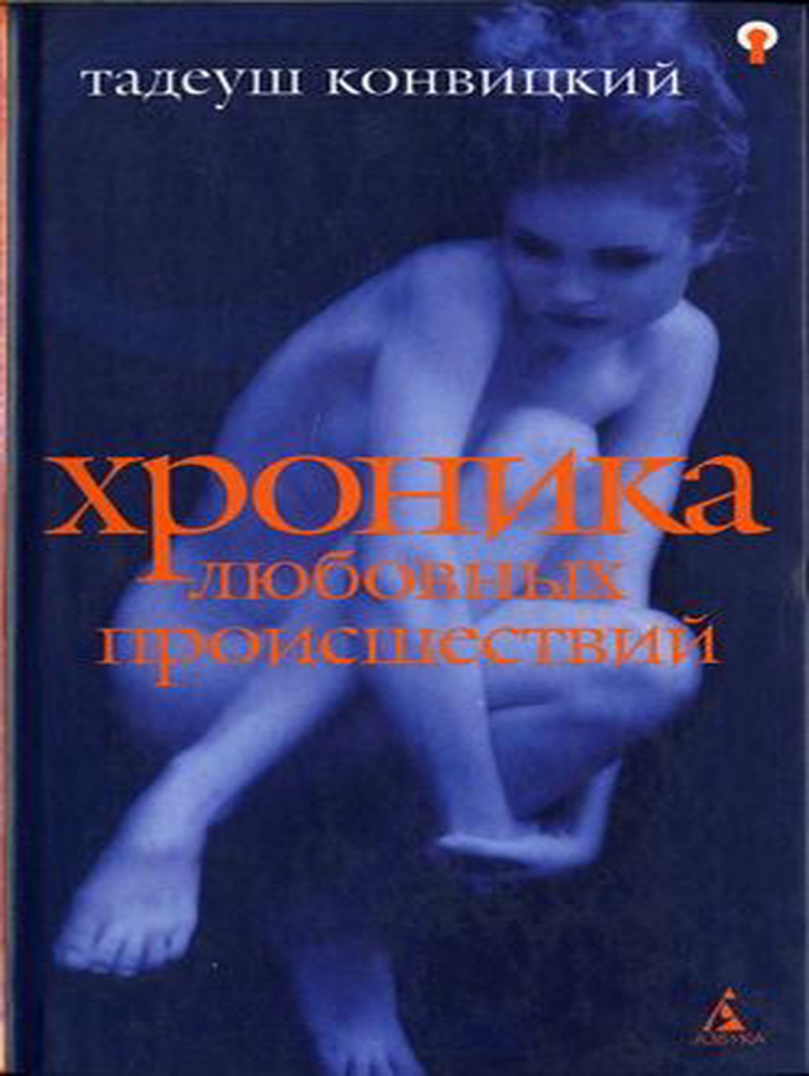
Тадеуш Конвицкий

Хроника любовных происшествий



Хроника любовных происшествий

Тадеуш Конвицкий

Аннотация

Тадеуш Конвицкий. Хроника любовных происшествий

Аннотация

Тадеуш Конвицкий – один из лучших и известнейших писателей современной Польши, автор уже знакомых российским читателям книг «Чтиво» и «Зверочеловекоморок».

«Хроника любовных происшествий» – знаменитый роман, по которому Анджей Вайда снял не менее знаменитый фильм. Действие этого исполненного романтической ностальгией произведения происходит в предвоенном Вильнюсе. История первой любви переплетена здесь с Историей (с большой буквы), и кульминационное любовное происшествие происходит на фоне знаменитой «атаки розовых уланов»…

Тадеуш Конвицкий
Хроника любовных происшествий

Именно так это началось. Поезд, монотонно покачиваясь, все глубже проваливался в песчаные каньоны, в кудлатые заросли можжевельника, в красноватые туннели измельчавшего соснячка. Неистовый весенний ветер, дурманящий озоном, врывался в вагон, разгуливал по пустому коридору.

Усатый кондуктор дырявил серебристым компостером билет Витека. На груди его висел медный фонарь. Из заиндевевшей от карбида горелки сочился голубой огонек, едва различимый в эту пору дня.

— Вы, как видно, студент.

— Нет, пока нет, — сказал Витек.

— Хорош картузик, — кондуктор показал своими серебристыми щипцами на синюю гимназическую фуражку, висевшую на крючке. — Красивая вышивка, поэтому я и подумал, что вы студент.

— Таков обычай. Все гимназисты перед выпускными экзаменами вышивают донышки своих фуражек.

— Вон даже что-то написано красной ниткой.

– *Per aspera ad astra.* Через тернии к звездам. Это девиз нашей гимназии.

– *Per aspera ad astra.* Где-то я уже слыхал такое.

А тут в соседнем вагоне, первым классом, едет настоящий архиепископ. Видали, молодой человек? Тогда воспользуйтесь случаем. Пожалуйста. Можно постоять в коридоре, хоть это и первый класс.

Кондуктор шел впереди, хватаясь за стенки. Оглядывался недоверчиво, идет ли Витек за ним. В черной от сажи брезентовой гармошке, соединяющей вагоны, под ногами у них взорвался перестук колес. Разверстая пасть судьбы. Ибо тогда железнодорожное полотно было еще порогом вечности.

Кондуктор, словно страж, замер у зеркального стекла двери. Корявой пятерней остановил Витека.

— Видали, молодой человек, какой великолепный? — шепнул он.

Архиепископ сидел не шевелясь на красном плюшевом диване, его седую голову покрывала фиолетовая шапочка. Между шепчущими что-то губами мерцал крупный, высшей пробы золотой зуб. Удивительно лучезарные, словно навсегда впитавшие отблеск свечей, руки держали тяжелый требник. Он сидел не шевелясь за искрящимся стеклом и смотрел прямо перед собой, на противоположную стенку, обшитую старым красным деревом, и, вероятно, что-то там видел,

ибо взор его был пытлив и внимателен.

— Глядите, молодой человек, сколько захочется, — прошептал кондуктор и притих.

Все купе первого класса, как всегда, были пусты. Только в одном сидел настоящий архиепископ или по крайней мере епископ, и исходила от него какая-то волнующая необычность, нечто совершенно неземное. Какая даль, мог подумать Витек, какое далекое, неведомое бытие.

Архиепископ медленно, очень медленно повернул голову, теперь он смотрел в сторону двери. Но, вероятно, не замечал Витека. Лучистый солнечный блик мгновенье трепетал на его щеке, вылепленной должно быть, в каком-то лучшем мире и покрытой кожей, более благородной, нежели у обыкновенных людей.

И тут что-то тяжело рухнуло рядом с Витеком. Это невысокий субъект в деревенской бекеше с ходу преклонил колени на красном половике коридора. С минуту истово осенял себя крестным знамением, потом поднял лицо, отмеченное печатью всех его прегрешений, а может, попросту многолетней нищеты.

— Благословит? — спросил, заикаясь.

— Он нас не видит.

— Видит, только молится и у Господа Бога го-

стит. — Незнакомец поднял брошенный на пол узелок в линялом платке, чтобы показать его Витеку. — Еду, барчук, к сестре в город. Страшно ехать, покидать, верно, барчук?

Витек молчал, не отрывая взгляда от неподвижных глаз архиепископа.

— Вы не желаете со мной разговаривать?

— Желаю.

— Надо разговаривать. Люди в этом нуждаются, и я нуждаюсь. Знаешь, барчук, я кое-кого сильно обидел. Поэтому должен говорить. Только всего не скажу. Страшно обидел женщину, может, собственную сестру.

— Вы же и едете к сестре.

— Да нет. Я еду не к сестре. В Варшаву еду, в самую Варшаву. Может, буду добиваться справедливости. Но страшно ехать; страшно покидать, верно?

— Я тоже поеду куда глаза глядят.

— Вы — нет. Вы здесь останетесь. И никогда никуда не поедете.

— Кто вам это сказал?

— Никто, я сам все знаю.

— А что меня ждет впереди?

Незнакомец лукаво усмехнулся, вытирая рукой мокрый нос.

— Может, и знаю, да не скажу. Лучше ничего не знать.

Он встал с колен, резко встряхнул узелок, а потом приложил к нему ухо, словно вняв пробудившемуся там голосу. Поезд грохотал в решетке старого моста. Внизу засветилась медлительная река, полная неба и облаков.

— Я бы дал вам что-нибудь на дорогу. Да у меня ничего нет.

— Все равно не скажу. Вам наверняка не скажу.

— Может, что-то плохое?

— Зачем спрашивать? Вы, барчук, молоды, здоровы, у вас все впереди. Я соврал, барчук. Еду не в Варшаву. В Америку еду, в самую что ни на есть Америку.

— В Америку? За океан? Как вы туда доберетесь?

Незнакомец снова плутовато заулыбался, наморщив лицо в темных пятнах, словно закопченное.

— Доберусь, барчук. Я уже раз там побывал.

— А зачем возвращались?

— Вернулся, чтобы обидеть. А теперь, проклятый всеми, поеду назад, в Америку, самую что ни на есть Америку.

— Мне пора. Я забыл фуражку в купе.

— Всю такую расшитую разноцветными нитками? Не пропадет, никто ее не тронет, вообще вы ее никогда не смените на другую. А я пришел сюда не ради благословения. К чему мне благословение? Я всегда могу получить его и от таких, и от сяких. Я молодость увидел. Вашу молодость, барчук. И до чего же мне захотелось ее украсть. Но не бойтесь, не заберу, не украду. Я просто малость постращал.

Незнакомец повернулся к стеклянной двери и захихикал, заслоняясь узелком, провонявшим заскорузлой нищетой. Потом вдруг подсунул Витеку под нос этот свой сверток.

— Хочешь, барчук? Хочешь, так бери.

Витек отпрянул с отвращением.

— На что мне это, не хочу.

— А не интересно тебе, что там внутри? Может, старые проекты, может, несметное богатство, а может, всего-навсего окровавленный топор? Получай от меня гостинец. На память о знакомстве.

— Я скоро сойду. На что мне ваше богатство?

Незнакомец снова встряхнул узелок возле своего уха, словно копилку.

— Всегда будешь жалеть, что не рискнул. Ну, подумай еще минуту. А может, хочешь поделить-

ся чем-то с первым встречным?

— Нет, спасибо. Никогда и ничего не следует брать у людей.

— Кто тебе это сказал?

Витек замялся. Поезд описывал дугу по высокой насыпи. Огромные шестиугольники золотистого света врывались в вагон и болезненно расплющивались на стенках.

— Отец. Отец мне это сказал. Во сне.

— Значит, его нет в живых.

— Да. Во время праздничных каникул, у тетки, он приснился мне настолько явственно, словно все это было наяву. Он шел ко мне по саду, облитый багровым отблеском солнца, светившего ему в спину, шел бесконечно долго, все шел и никак не мог до меня дойти.

Архиепископ взял двумя пальцами зеленую ленточку, открыл требник на заложенной ею странице. Потом перекрестился четким, одухотворенным жестом.

Поцелуемся на прощанье, — предложил, заикаясь, незнакомец с узелком.

— Чего ради мы будем целоваться?

— Тебе выходить, а я должен уйти.

— Счастливого пути.

— И не хочешь поцеловаться с человеком? Брез-

гуешь моей бедностью, презираешь ничтожного скитальца. Только от судьбы своей не уйдешь, аминь.

Повернувшись спиной к Витеку, незнакомец медленно направился к черной гармошке, соединяющей вагоны. Шел серединой коридора, легко, как хищный зверь, и придерживался за стенки, когда поезд заколыхался на стрелках.

Витек, вероятно, подумал тогда, что это какой-то побирушка, бродяга-юродивый едет с ярмарки или большого престольного праздника, и вернулся в свой вагон.

Поезд проезжал городок, вернее, город, раскинувшийся на склоне обширного холма, точнее говоря, не холма, а плоскогорья, которое вскоре круто обрывалось к реке, можно даже сказать, вполне приличной реке, что местами то сильно сужалась, то широко разливалась, совсем как порядочная река, занесенная в географические атласы.

Это был родной городок Витека. Здесь он когда-то родился, на длинной улице, бегущей вдоль железнодоролсного полотна, но в каком доме, уже никто не помнил, даже мать не могла вспомнить. И поэтому он приглядывался к одноэтажным домикам, стремительно убегавшим назад, домикам

кирпичным, порой небрежно оштукатуренным, хотя чаще деревянным, с крылечками, на которых летними вечерами слушают соловьев и вдыхают крепкий аромат ночной фиалки, домикам в садах, с позволения сказать, садах, теперь совершенно нагих, с едва заметными утолщениями набухающих почек. И этот городок, точнее, небольшой город в сущности ничего не значит для Витека, и он взирает на него равнодушно, ибо эта якобы родная улица уже промелькнула, а городок этот, невыразительный, безликий, словно создавался без души, кое-как, может, случайно, к тому же еще был возведен военными, у которых тут огромные гарнизоны, точнее, военными и путейцами здешнего маленького, однако чрезвычайно важного железнодорожного узла. Этот городок решительно не годился для того, чтобы о нем помнили, грустили, видели его в волнующих снах. И потребуются уйма лет и немалый горький опыт Витеку, чтобы именно такой городок мучительно напомнил о себе, возродился во всем своем трогательном очаровании и навсегда утраченным очарованием до боли стиснул сердце Витека где-то в пути, на краю света, в одиночестве и безнадежном бессилии.

Неприглядность ржавых пригорков, неопрят-

ных откосов и хилых деревьев, подобных мокрым тощим птицам, словом, все отчаянное убожество ранней весны заслоняло поочередно домишки, улочки, вымощенные булыжником, кособокость какой-то фабрики, излучину реки с офицерской пристанью, все те места, где жили издавна либо посещали их случайно и другие люди, ныне еще безымянные, но в будущем призванные запечатлеть в сознании современников свое знакомство с этим городом, свою любовь и приступы отчаянья, изведанные в городе, который на самом деле был только беспорядочным скопищем домов, каких тьма-тьмущая на белом свете.

Поезд начал замедлять бег перед станцией, на которой предстояло сойти Витеку. Показалась извилистая песчаная дорога, вынырнули из гущи голых деревьев элегантные виллы, в туманной дали заколыхался, стиснутый холмами, большой город Вильно, внушающая ужас метрополия. И в этот момент застонали тормоза, огромные снопы искр полыхнули из-под колес поезда, и чудовищная сила толкнула Витека на металлическую раму окна. Вагон затрещал по швам, кто-то кубарем пролетел по коридору, цепляясь за бронзовые ручки, все отчаяннее свистел паровоз. Наконец поезд остановился.

Теперь Витека, наоборот, отбросило назад. Он схватился за спущенную раму. Высунул голову наружу, где дул приправленный морозцем шальной весенний ветер. Поезд стоял прочно, добродушно посапывая, в двухстах метрах от станции, на высокой насыпи, вздыбившейся над невзрачным лужком, где паслись три пегие козы.

Появился кондуктор. Он бежал от паровоза, придерживая на груди фонарь. Лучи послеполуденного солнца, пробивавшиеся между вагонными колесами, хватали его за ноги, за полы расстегнутой шинели. А он бежал и ежеминутно приседал, словно подглядывал за кем-то, скрывавшимся по ту сторону полотна. Наконец остановился, присел и начал что-то выдергивать из-под колес. Это что-то не поддавалось. Кондуктор помахал фонарем, сигналя машинисту. Состав заколебался, заскрежетал колесами, немного попятился и застыл с протяжным стоном. На помощь кондуктору прибежал машинист в черном халате. Оба влезли под вагон и принялись вытаскивать какой-то внушительных размеров ошметок в изодранном тряпье. Витек увидал поразительно белую руку, цеплявшуюся за пропитанный нефтью щебень. И в ужасе от-

прянул в глубь вагона.

Потом состав, как бы собравшись с духом, несколько раз дрогнул, словно отрывал колеса от того места, и медленно двинулся к станции. Очень долго он ехал эти двести метров.

Витек взял чемодан и направился к выходу. Осторожно отворил дверь вагона. Платформа была пуста, ничего тут не происходило, даже начальника станции не было видно. Витек ступил на шероховатую от щебенки платформу. Ветер несильно ударил ему в спину, подталкивая к переходу через пути перед паровозом. Витек шел вдоль поезда и осторожно поглядывал на колеса. Все они были одинаково покрыты жирной лоснящейся смазкой.

Только перейдя полотно, он заметил под навесом несколько человек, обступивших что-то, лежащее на полу. И вдруг показалось, что эта сцена ему уже знакома, хотя он не мог ничего подобного помнить, ибо никогда прежде не видел гибели человека.

В страшной тревоге, сотрясаемый доселе не изведанным ознобом, Витек приблизился к людям, которые в тялеком раздумье созерцали исковерканные останки на присыпанных песком половицах. Увидал среди клочьев перепачканной

одежды впадину живота, заполненную словно бы мутной водой и скупо растворяющейся в ней кровью.

— Может, он бросился под поезд? — тихо спросил кондуктор.

Машинист надел фуражку и тут же снова обнажил голову.

— Нет, я никого не видел.

— Может, выпал из дверей? — предположил солдат, от которого разило шинельным сукном и скверно выдубленной кожей.

— Если бы выпал, его бы отбросило, — покачал головой машинист. — Двадцать лет езжу, даже воробья не задавил. Господи Иисусе. Боже праведный.

— Тогда откуда же он взялся? Может, кто видел его в поезде? — Кондуктор вытер руки о полу шинели.

Все молчали. Снова заговорил солдат:

— Как его опознаешь, если лицо закрыто?

— Так откройте, — сказал кондуктор.

— Почему я?

— Вы самый любознательный.

— Меня вообще ничего не касается. Наше дело — быть в казарме до наступления темноты, только это меня и волнует.

— А может, это тот, кто собирался в Америку? — вдруг произнес не своим голосом Витек.

Все повернулись к нему.

— Который? — спросил кондуктор.

— Ну тот, с узелком. Вместе со мной любовался епископом.

— Не было при нем никакого узелка, — сказал кондуктор.

Снова помолчали с минуту над грудой драной одежды и изуродованной плоти.

— А может, это Володко? — вдруг спросил дежурный по станции.

Еще немного помолчали. Позади них прошествовали козы, вероятно возвращающиеся домой. Они шли, широко расставляя задние ноги, распираемые тяжелым выменем.

— Может, и Володко, — изрек наконец кондуктор. — Может, совесть его замучила.

— Нет, Володко бы так глупо не погиб, — сказал солдат.

— Ну, как бы там ни было, человек умер, — вздохнул кондуктор, — звони, Владек, в Вильно.

Дежурный припустил бегом в свою контору. Бежал через полотно между вагонами. Паровоз осторожно посапывал, словно самого себя утихомиривая.

* * *

Наши пасхальные празднества совершенно не походили на нынешние. Собственно, начинались они в Вербное воскресенье, которое уже само по себе являлось значительным торжеством. Вся Страстная неделя — это праздник со знаком минус, антипраздник, апогей аскетизма перед чревоугодием. Каждый день Страстной недели отличался от другого своим суровым ритуалом и каждый приносил все более строгие ограничения в питании. В Страстную пятницу мы ели только черный хлеб, запивая его в лучшем случае квасом. С четверга просиживали в костеле, участвуя в мрачных, смахивающих на погребальные, богослужениях. Земля также готовилась к весеннему взрыву. В вымоинах, канавах, оврагах агонизировал засахарившийся, черный снег. Подсохшие лесные пригорки захватывали лихие орды разнотравья. Земля стонала по ночам, порою где-то трескалась, обнаруживая жирное, желто-багровое нутро. Пряные запахи вымерзшей прошлогодней земли и новой поросли гонял по лугам непоседливый ветер. Когда доносился запах горящей соломы и паленой щетины, все понимали, что кто-то забил свинью на праздни-

ки, разделывает тушу, начиняет кишки фаршем и всевозможными кашами. Пулей пролетала кошка с привязанным к хвосту свиным пузырем, в котором гремел горох. Девушки раскрашивали вареные яйца, мальчишки осторожно опробовали их, выискивая те, что потверже, пригодные для забав в праздничные дни. В огромных чанах доваривалась ветчина, а тем временем все поочередно бегали в костел, чтобы присутствовать при медленной, приближающейся с каждым днем кончине Христа. Обливались слезами, видя неотвратимость этой смерти, распластывались крестом, дабы предотвратить трагическую судьбу Иисуса, растроганно прощались с ним навсегда, хотя уже в Страстную субботу он должен был воскреснуть до полуночи и вернуться к ним снова на целый год. И в ту Страстную субботу святили пасхальную снедь. А потом все с искусно украшенными корзинками, полными яиц, колбас и куличей, мчались очертя голову домой. Мчались напрямик, теряя шапки, разрывая штаны на заборах, калеча руки и ноги, лишь бы первым достичь собственных дверей, что было добрым предзнаменованием. На это слегка насмешливо взирали ветхозаветные евреи, которые только приступали к поискам подходящего строи-

тельного материала в садах и парках для своих пасхальных шалашей. Хмуро взирали на это староверы и православные, которым приходилось ждать еще две недели, прежде чем они начнут целовать в уста встреченных соседей с доброй вестью, что Христос воскрес. А между тем изголодавшиеся католики уже рассаживались за столы, убранные миртом и плауном, столы, зловеще потрескивавшие под тяжестью ветчины вареной и копченой, колбас вареных и жареных, грибов маринованных и соленых, киселя клюквенного и овсяного, яиц и брусники, румяных поросят и подкопченных гусей, бутылей с наливками и самогоном с едва заметным сивушным запашком, куличей, облитых жженым сахаром, и огромных караваев, сдобных булок и хвороста, кувшинов с домашним пивом и компотами. Изобильным стол оставался первых два праздничных дня, стоял последующие дни, не скудел вплоть до Вербного воскресенья, ибо Пасха не имела у нас четкого конца, иссякала неторопливо и без особых канонов, у одних завершалась в среду, у других — в субботу. А подчеркиваю это я потому, что Рождество, этот магический праздник единения семьи и человечества, продолжалось у нас до самых Трех святителей. Засыпанные снегом

по крыши, закованные в ледяной панцирь, мы проводили две недели в атмосфере, наполненной ароматом свечей, яблок, вянущей хвои, в радостной тревоге ожидания нового, многообещающего грядущего года.

* * *

Мать распаковывала чемодан в спальне. Из боковушки, которая некогда была верандой, доносился натужный хрип деда. Яркое зарево заката слегка дрожало в огромном напольном зеркале, раму которого пожирали зимой древоточцы.

— Видал решетку в окне почты? — спросила мать.

— Нет. А что?

— Володко лез позавчерашней ночью. Погнул, как проволоку, да кто-то его спугнул.

— Поездом задавило» человека у станции. Путейцы говорят, что это Володко.

Мать торопливо перекрестилась.

— У нашей станции?

— Да. Поездом, на котором я приехал.

— И он там лежит?

— Лежит. Ждут полицию.

Мать открыла шкаф и начала что-то перекладывать, шелестя сухими травами — средством

от моли.

— Витек.

— Да, мама.

— Подойди ко мне.

— Что ты еще придумала, мама?

— Ну подойди же, подойди, дитя мое.

Она таинственно улыбалась, пряча руки за спиной. Витек нехотя приблизился. Она оглядела его шевелюру, лицо, широкие плечи.

— Ты у меня красивый.

— Что ты, мама. Как тебе не стыдно.

— Самый красивый. Другого такого не найти.

— Я уйду, ей-богу.

Ее седые волосы сохраняли отблеск уже погасшего заката. За стеной, под навесом крыши, отчаянно пищали ласточки, воюя с воробьями из-за своих гнезд. Мать медленно высвободила руку из-за спины, и взору Витека предстала серебристо-серая студенческая шапочка, называвшаяся «королевской». Это был длинный рукав, искусно собранный в гармошку, а квадратное донышко с гербом короля Батория[i] кокетливо спадало на затылок. Мать высоко подняла ее обеими руками и торжественно водрузила на голову сына, как

---

[i] notes: ~ _edn1 ~

[i] *Стефан Баторий* (1533–1586) — польский король; участник Ливонской войны (1558–1583); основатель Академии в Вильно (1579).

тиару.

— Это праздничный подарок, сынок.

— Мама, а вдруг я не сдам экзаменов?

Она тихонько рассмеялась, прикрывая рот ладонью.

— Ты не сдашь? Тогда кто же сдаст?

— Все может случиться.

— Ты всегда был самым лучшим учеником и должен быть самым лучшим студентом.

— Мама, как можно говорить такие глупости!

Мать обхватила сухими, жесткими ладонями его голову, на которой стояла торчком не обмявшаяся еще студенческая шапочка. Потянулась к нему запекшимися, бескровными губами и поцеловала в уста.

— Ты будешь великим врачом. Знаменитым на весь мир профессором. Будешь лечить всех нас, будешь спасать богатых и бедных, исцелять королей и нищих.

Витек вырвал голову из ее рук. Где-то послышался дребезжащий голос патефона. Зеркало постепенно угасало, наполнялось голубоватым сумраком.

— Сглазить хочешь, мама. Вот увидишь, непременно сглазишь.

— Сглаза боятся слабые люди. А ты сильный,

как твой отец.

— Почему ты отца вспомнила, мама? В чем была его сила?

Мать шагнула к Витеку.

— Он был очень сильный. И погиб из-за своей силы, — прошептала она.

— А мне из-за него всю жизнь нести проклятие.

— Нет, сынок, нет. Ты за него отомстишь.

Тут громко забренчали пружины кровати в соседней комнате, в боковушке, которая некогда была верандой. Дед с минуту заходился надсадным кашлем, словно исторгал и не мог исторгнуть до конца свои легкие.

— Зайдите сюда, бога ради, — прохрипел старик.

Они стали в дверях комнаты, пропахшей потным телом и мокротой. За стеклами веранды метались на ветру засохшие прошлой осенью плети дикого винограда. Массивные часы с медными гирями, как гильзы артиллерийских снарядов, глухо тикали над изголовьем кровати.

— Никто мне ничего не говорит, я один вечно ничего не знаю, — пожаловался старик. Зеленоватая щетина почти доходила до черных, неестественно огромных глаз, где уже год оби-

тала смерть.

— Это я, дедушка. Вернулся от тетки, — сказал Витек.

— Удачно попраздновал? — заскрипел старик.

— Отлично. Только паводок немного помешал. Вилия разлилась.

— Ага, Вилия разлилась. А хорошо ли прошло народное гулянье?

— Храмовой праздник тоже удался на славу. Много народа съехалось в Прощеное воскресенье. Из самых дальних усадеб, из глухомани. Тетка осталась в барыше.

— У всех барыши, только не у меня, — захрипел пересохшим горлом старик. — Ядя, как думаешь, дите мое, долго ли еще мне мучиться?

— Думаю, недолго, папочка. Господь милостив.

— Дай-то Бог, дай-то Бог. А что у него на голове?

— Это студенческая шапка, папочка.

— Значит, Витек уже студент? А я ничего не знаю, никто меня не ставит в известность.

— Еще нет, папочка. Через месяц он сдаст выпускные экзамены и осенью поедет поступать на медицинский факультет.

— Осенью, говоришь? Значит, не доживу. Слава богу, не доживу до осени. Ох, как мне тяжело, дети

мои, ох, как страшно умирать до бесконечности. Твой Михал, счастливчик, сам себе уготовил легкую, такую легкую смерть, наилегчайшую, как пробуждение на рассвете. — Старик дышал тяжко, дышал всем разрушенным организмом. В горле его клокотали какие-то странные, разнообразные и громкие звуки, к которым он прислушивался озабоченно, с удовольствием.

— Не говорите так, папочка, о Михале. Помолитесь за него. Он там вас дожидается. — И мать перекрестилась.

— Ах, ты ждешь, чтобы я побыстрее закрыл глаза. Все ждут не дождутся.

— Почему? Живите, сколько хотите.

— Ох, я больше не хочу жить. Перестаньте меня терзать. Все-то ко мне лезут. И твоя мамочка, и братья, и свояки, и люди, с которыми когда-то встречался. Знаю, что приходят, вижу, как идут ко мне через вашу комнату, потом наступает затмение, и снова начинается хождение.

— Поспите, папочка, отдохните немножко.

— Ах, уснуть бы уж навсегда.

И старик задышал глубоко, с отчаянием, словно старался поглотить весь этот спертый воздух, перенасыщенный миазмами и бедой.

Кто-то постучал в притолоку, потом нетер-

пеливо ударил кулаком. Это был пан Кежун, начальник почты. Он явно очень спешил, так как был в галошах на босу ногу.

— Я видел, что Витек вернулся, — заговорил он торопливо. — Видел, как шел со станции.

— Да, недавно вернулся.

Витек спохватился, что продолжает стоять в нелепой шапке, которая напоминает прогоревшую трубу от буржуйки. Украдкой сдернул ее и спрятал за спину.

— У меня просьба, парень. Подбрось телеграмму полковнику Наленчу, у меня беда с детьми, ни на секунду нельзя отлучиться из дома.

Витек растерянно молчал.

— Ты же знаешь, он из новых, живет в офицерском дачном поселке. Найдешь запросто.

— Он устал, пан Кежун, прямо с поезда.

— Какой же он усталый, дорогая соседка, кровь с молоком. Весь город вам завидует. Это же орел, настоящий орел, а не гимназист выпускного класса. Бери, парень, мой велосипед. Я его оставил на улице, а вот тебе телеграмма и разносная книга, пусть проставят точное время вручения. Черт побери! — вдруг выругался в сердцах начальник почты. — Забыл выключить утюг. Сожгу хату и детей! Ну, заранее благодарю!

И пан Кежун умчался, опрокинув что-то в сенях.

— Отнеси, Витек, — сказала мать. — Может, это Добрая весть. Может, принесешь людям счастье.

Витек надел старый свитер и поношенные брюки. На улице его дожидался велосипед, проржавевшая «дамка» с полуспущенными шинами. Напротив, в одноэтажном домике сестер Путято, безнадежно надрывался патефон. В окнах мерцал свет преждевременно зажженных ламп и чьи-то тени двигались в такт музыке. Витек сел на велосипед и, раскачиваясь из стороны в сторону и сильно нажимая на педали, поехал тротуаром по круто подымавшейся вверх улице, где дремали в садах прочно угнездившиеся на склоне виллы, где брал свое начало густой и богатый диковинными деревьями лес, тот лес, что отделяет Нижнее предместье от Верхнего.

Поочередно загорались редкие уличные фонари на старых, потрескавшихся деревянных столбах. Со стороны леса доносился тревожный шум, полный странных отзвуков. У подножия горы дорога поворачивала вправо, чтобы перейти в серпантин, убегающий вверх. Витек соскочил с велосипеда и, тяжело дыша, стал подыматься по деревянной лестнице на макушку холма, где

стоял костел и где начинались дома Верхнего предместья.

Дом Наленчей, вернее, вилла в стиле модерн, построенная на месте прежней, которая сгорела несколько лет назад, итак, новый дом Наленчей стоял на склоне оврага, и огромный сад ниспадал узкими террасами на его дно, по которому некогда, вероятно, протекал ручей, ныне высохший и всеми уже забытый.

Витек подвел велосипед к калитке. Дернул деревянную ручку. Где-то у дома пронзительно задребезжал звонок. Засветилось одно окно, потом другие, хлопнула дверь. Кто-то бежал к калитке в жидком весеннем сумраке.

— Вы к нам? — спросила горничная, зябко кутая шею.

— Я с почты, вам телеграмма.

Она отперла ключом калитку. Провела его в дом. Темный клубок выкатился из кустов, и Витек почувствовал сквозь штаны теплое собачье дыхание.

— Пожалуйста, не бойтесь. При мне не укусит, — предупредила горничная.

Пес трусил за Витеком, толкая его крупной мордой. Так вошли в холл, и пес бдительно уселся позади Витека.

— Что случилось, Зося? — послышался звонкий голос.

— Это с почты. Принесли телеграмму.

На лестнице появилась девушка, сбежала вниз, перепрыгивая через две ступеньки.

— Где эта телеграмма?

Витек молча подал склеенный бланк. Девушка распечатала телеграмму и пробежала глазами.

– *Maman, papa arrive* [ii].

Витек почувствовал, что сердце у него бьется ускоренно, бьется очень сильно. А девушка бросилась к дверям соседней комнаты и там столкнулась с матерью.

— Папочка завтра возвращается. Видишь, видишь, я предчувствовала, что будет добрая весть. Всю ночь мне снился поезд. И ехал он прямо по земле, не по рельсам.

— Распишись в получении, — напомнила мать.

Девушка подбежала к Витеку и, не взглянув на него ни единого раза, взяла бумажку.

— Пожалуйста, укажите точное время, — произнес Витек сдавленным голосом.

Она вернулась к матери; с минуту обе искали

[ii] notes: ~ _edn2 ~

[ii] Мама, папа приезжает *(фр.)*.

карандаш в соседней комнате.

— *Il faut donner quelque chose à cet homme pour sa fatigue* [iii], — сказала мать.

– *Qui, donne lui cinquante grosches. Qu'il ait une bonne soirée* [iv].

Зазвенела мелочь, шаркнул отодвинутый стул.

— Ты не сказала мне, что отец телеграфирует: «приезжаем», а не «приезжаю».

— Я не заметила. О Боже, как я рада. *Nous pouvons lui donner un zloty* [v].

– *Tu aimes dorloter les gens* [vi].

– *Maman, le soir est si froid et lui, le pauvre diable, il n'a qu'un pull sur le dos* [vii].

– *Cinquante, ça suffit* [viii].

Девушка прибежала с квитанцией, в которой была спрятана монета. Не глядя на Витека, подала

[iii] notes: ~ _edn3 ~

[iii] Надо ему дать немножко за труды *(фр.).*

[iv] notes: ~ _edn4 ~

[iv] Дай ему пятьдесят грошей, чтобы приятно провел вечер *(фр.).*

[v] notes: ~ _edn5 ~

[v] Мы можем дать ему злотый *(фр.).*

[vi] notes: ~ _edn6 ~

[vi] Ты любишь баловать людей *(фр.).*

[vii] notes: ~ _edn7 ~

[vii] Мама, вечер такой холодный, а на нем, бедном чертенке, один свитер *(фр.).*

[viii] notes: ~ _edn8 ~
[viii] Пятьдесят грошей, этого достаточно *(фр.)*.

ему чаевые, машинально произнеся по-французски:

– *Merci. C'est tout?* [ix]

Витек с трудом проглотил слюну, потом проговорил не своим голосом:

– *Oui. C'est tout. Et moi, je vous remercie, mesdames, et je vous souhaite une bonne nuit* [x].

Она уже бежала к дверям комнаты, где была мать, однако, услыхав ответ, резко остановилась. Медленно повернула голову, впервые взглянула на него.

– *Merci pour le pourboire. J'essayerai d'en faire une grande fortune* [xi], — произнес смелее Витек и неуклюже поклонился.

– *Je m'excuse* [xii], — сказала она тихо.

Проводила его до калитки горничная. Пес снова шел за ним, но теперь схватил зубами за штанину, и неизвестно было, проявление это

[ix] notes: ~ _edn9 ~

[ix] Спасибо. Это все? *(фр.)*

[x] notes: ~ _edn10 ~

[x] Да. Это все. Я должен поблагодарить вас, сударыня, и пожелать спокойной ночи *(фр.)*.

[xi] notes: ~ _edn11 ~

[xi] Благодарю за чаевые. Я постараюсь с вашей помощью разбогатеть *(фр.)*.

[xii] notes: ~ _edn12 ~

[xii] Извините меня *(фр.)*.

враждебности или дружбы.

— А как зовут барышню? — спросил Витек.

— Кого, меня?

— Нет, вашу барышню, от которой я получил пятьдесят грошей.

— Зачем вам знать?

— Не сердись, ведь это не секрет.

— Ну конечно.

— Так как же?

— Алина.

Витек некоторое время шел молча. Пес все еще держался зубами за штанину. В доме позади них вдруг загремел рояль головокружительными аккордами.

— Алина, — повторил Витек.

— Красивое имя?

— Собственно, я не очень уверен, что красивое. Могло бы быть красивее. Может, это и к лучшему.

— Что к лучшему?

— Что не особенно красивое.

— Тоже еще, — буркнула горничная, отворяя калитку. Пес любезно отпустил штанину Витека, грузно плюхнулся на тропинку, скуля и ворча попеременно, то ли по причине враждебности, то ли дружелюбия.

— До свидания, — сказал Витек.

— Почему до свидания?

— Так вырвалось.

— Лучше пусть так не вырывается, — тихо сказала горничная.

Витек постоял в одиночестве на дороге. Минуту собирался с мыслями, потом взял велосипед и без единой мысли побрел вдоль металлической сетки ограды. Увязал в раскисшей земле, продирался сквозь прошлогодний бурьян. По ту сторону ограды молча бежал тот странный пес-великан.

— Вот видишь, братец, — сказал Витек. — Видишь, что случилось.

Пес негромко заскулил. Они остановились напротив окна. В широкой щели между шторами виднелись фрагмент черной глыбы рояля и девичья головка. Яркий свет падал откуда-то сбоку. Витек увидал короткие серые волосы, серые от бархатистости, увидал тонкий профиль, улыбчивое лицо, увидал хрупкую шею на покатых плечах.

— Может, влюбиться в нее, а? Как думаешь? — шепнул Витек.

Пес заскулил, припал на передние лапы, тыча носом в сетку ограды.

— Может, полюблю без взаимности и потом

умру от любви?

Витек достал квитанцию, вытряхнул на ладонь монету. Она тускло засветилась, отразив распогодившееся к ночи небо.

— Где же была твоя хозяйка? Почему я до сих пор не знал ее, а, собачка?

Пес отпрянул, изображая бегство, да тут же вернулся и жалобно залаял, припав на передние лапы.

— Нет, не влюблюсь.

Витек подышал на монету, сунул ее в карман. Не оглянувшись, двинулся напрямик к дороге. Пес залаял, отчаянно карабкаясь на сетку. Витек включил динамо у колеса, вскочил на велосипед. Ехал он лесом, кратчайшим путем, вниз, туда, где в сумраке надвигающейся ночи неторопливо приближалось к городу золотисто-багровое ожерелье окошек пассажирского поезда.

Когда он возвращался пешком с почты, кто-то засвистел из-за забора сестер Путято. Витек остановился возле своего дома, грузного и уродливого, как динозавр. Небо было забито звездами, и звезды тогда были всего лишь звездами на весеннем небосклоне и ничего больше не значили.

— Витька, иди сюда, я что-то тебе скажу, — послышался чей-то голос.

— Это ты, Лева?

— Да, я. Иди же.

Лева стоял у покосившегося забора, приводя в порядок штаны.

— Что ты тут делаешь?

— Ничего, писаю.

— А вообще?

— Мы играем с барышнями в бирюльки. Идем, посмотришь.

— Отстань, я пойду домой.

— Чего ломаешься, они просили тебя привести.

И Лева повлек Витека за собой через сени в комнату, разукрашенную ковриками, салфеточками, этажерками, фарфоровыми статуэтками, выцветшими фотографиями в бамбуковых рамках, расшитыми подушками, шелковыми абажурами кирпичного цвета, засохшими гроздьями рябины. Сестры, Цецилия и Олимпия, сидели за столом, разделенные Энгелем.

На салфетке, прикрытой куском клеенки, возвышалась горка бирюлек. Патефон исторгал танго «Осенние розы».

Цецилия поправила шпильку в пышном узле на затылке.

— О, пан Витек, пропащий. Весело было на

праздничных каникулах?

— Так себе. Незаметно пролетели.

— Мама отправляет вас в деревню из опасения, что здешние девицы вскружат вам голову?

— Такого кавалера мы бы тоже никому не отдали, — засмеялась Олимпия и глянула на свое декольте. Тяжелый запах старых духов витал над столом.

— Ну, ну, — сказал Лева. — Напоминаю, что ваш жених я.

— Ах, Левка, пустые слова, что мне от этого жениховства.

— Как что? Блаженство. Физическое удовлетворение. — Лева пододвинулся вместе со стулом, нацелился чмокнуть Олимпию в затылок под закорючками мелких локончиков.

— Отстань, брысь, поросенок. Амурничать ему захотелось.

Энгель, который то бледнел, то краснел, хлопнул ладонью по столу так, что подскочили бирюльки.

— Играем или нет, господи прости.

— Смотри, какой ревнивый.

— Пан Витек, будьте любезны, поставьте пластинку еще раз.

Вошла старая Путятиха, закутанная в огромную

шаль с бахромой. Под лампой отмерила изрядную порцию капель в чайную ложку. Выпила, скорчив гримасу отвращения.

— Бесстыдницы. Гимназистов сбивают с толку, — заныла она.

— Идите спать, мама. Не ваше дело.

— Господи, что за судьба. Какое несчастье, — кряхтела старуха, пряча лекарство в шкафчик.

— Сегодня человек попал под поезд, — вдруг выпалил Витек.

На минуту все примолкли. «О, дай мне холодную руку твою, взгляни мне в глаза и скажи…» — все медленнее тянул патефон, видимо давно не заводившийся.

— Его душа блуждает между нами, — проговорила плаксиво старуха, — а вы, грешники, куролесите весь вечер.

— Так играем или не играем? — спросил Энгель, снова неизвестно почему побагровевший.

— Тогда, может, лучше не играть. — Цецилия расшвыряла рукой бирюльки. — Боже, какой кошмарный год.

— Говорят, война будет, — зевнула Олимпия.

Лева вытащил папиросную бумагу и коробочку с табаком. Начал старательно скручивать цигарку.

— Каждый год говорят, что будет.

— Господи, что за судьба. Какое несчастье. — Старуха заковыляла в свою комнату.

Патефон затих, но никто не пошевельнулся, чтобы завести его. Слабеющий ветер вдруг обмел стену, где-то хлопнула незапертая дверь. У кого-то заурчало в животе, Олимпия отодвинула стул, косясь на свое декольте.

— Это из-за Витека. Пан Витек почему-то не в настроении. Испортил нам игру.

— А на что играли?

— Догадайтесь.

— Вероятно, на поцелуйчики?

Лева выпустил огромное облако дыма, которое сразу же спряталось под абажур. Все загляделись на этот дым, заклубившийся под лампой.

— Угадал, — сказал Лева. — На этот раз выигрывали почему-то только дамы.

Снова умолкли, прислушиваясь к ветру.

— Витек, когда же вы наконец влюбитесь? — вдруг спросила Цецилия.

— Может, я уже влюблен.

— У него ледяное сердце, — сказал Лева. — Решил сперва сделать карьеру.

— А уста прямо созданы для поцелуев, верно, сестричка? — захихикала Олимпия и опять гля-

нула на свое декольте.

— Так я пошел, — поднялся Энгель. — Извините, уже поздно.

— Все пойдем, — поддержал его Лева. — Спасибо за приятный вечер.

— Витек испортил нам игру. Может, завтра пойдет лучше. Хотите сыграть в фанты? — Цецилия обеими руками закалывала свою небрежную прическу.

— Почему бы нет, мы всегда готовы на все, — и на сей раз согласился Лева.

— Витек, приходи тоже, дорогой.

Вышли на улицу, остановились на тротуаре у забора. Лева собирался с мыслями, глядя в землю. Где-то на краю предместья самозабвенно брехали собаки.

— Послушай, Энгель, — проговорил наконец Лева, — не берет тебя охота трахнуть одну из них?

— Почему меня, а не тебя? Ведь ты смелее.

— У меня есть девушка в городе.

— У тебя есть девушка? Кому ты говоришь?

— Ей-богу, есть.

— Тогда покажи фотокарточку.

— Сейчас, ночью? А ты бы мог уломать одну или даже обеих сразу.

— Пошел ты, они же старые. Пожалуй, им лет

по тридцать.

— Ясно, что не молодые. Но когда сидишь рядышком и задеваешь локтем эти округлости, разве ничего не чувствуешь?

— Разумеется, чувствую. Любой бы почувствовал.

Левка помолчал, а потом горестно вздохнул:

— А у меня такой запал, доску бы прошиб.

— У всех запал, — пожаловался Энгель.

— Да пошел ты к разэтакой матери, — выругался Лева и двинул восвояси. Энгель, чем-то огорченный, поплелся следом за ним.

Витек, оставшись в одиночестве, вероятно, попытался побороть соблазн. Смотрел на звезды, которые тогда были только звездами, чем-то связанным с лирикой, и не более того.

Громадный жестяной колпак с огромной лампочкой раскачивался на деревянном столбе, как колокол. Жидкий электрический свет равномерно выплескивался то на одну платформу, то на другую. Световое пятно падало и в темный провал дверей зала ожидания, где давеча лежал труп самоубийцы. Витек напрягал зрение, чтобы в этот момент разглядеть присыпанные песком половицы, между которыми торчали сухие стебельки трав. Но не поспевал вовремя сосредо-

точить внимание, и перед глазами снова надолго сгущалась непроницаемая тьма предвесенней ночи. И тогда Витек стал осторожно, прижимаясь к стене, подкрадываться к дверям. Звезды мигали наперебой, и, казалось, доносился шорох этого подмигивания. Наконец он подобрался к углу, приложил ухо к старому, шероховатому бревну. Но ничего не услышал, кроме всхлипывания ветра, утюжившего трухлявые опоры строения.

И вдруг, собравшись с духом, сделал бросок ко входу. Из-под ног метнулось пятно света. Витек увидал весь зал ожидания, с изломанными скамейками, вырванными из стен досками, с фресками надписей, нацарапанных перочинными ножами. Но пол был пуст, никто на нем не лежал, и не было никаких следов того, что кто-то тут лежал.

Стеклянно зазвенели провода семафора. На небе, среди звезд, которые были тогда романтичнее, чем теперь, загорелся зеленый глаз семафора. А на подступах к городу зарождался перестук колес приближающегося поезда.

Кто-то пробежал позади Витека. Он резко обернулся. Но никого не заметил.

— Кто здесь? — спросил сдавленным голосом.

Ответа не последовало. Однако кто-то тяжело

сопел во мраке.

— Это ты, Лева?

Опять послышались легкие шаги. Огромный пес присел на бетон платформы. Они молча смотрели друг на друга.

— Хозяйка тебя прислала? — спросил Витек и сделал шаг вперед. Пес осторожно попятился, да так и пошел задом наперед от надвигавшегося на него Витека.

— Ко мне, песик, постой, — шептал Витек. — Что ты хотел сказать? Не убегай. А может, тебя никто и не посылал? Может, ты носишь в себе душу человека?

За черным холмом мерцало зарево приближающегося поезда.

Потом, на кухне, он увидал мать, дожидавшуюся его над коробом со старыми фотографиями. Выцветшими, с русскими надписями на обороте твердых паспарту. Мать в который раз рассматривала через увеличительное стекло забытых кузенов и покойных тетушек.

— Где ты был? Что случилось?

— Не знаю. Может, что-нибудь и случилось.

— Помни, Витек, о самом важном. Ты должен стать доктором. Тогда люди все забудут. Ты должен быть великим врачом.

— Хорошо, мама, я буду знаменитым врачом.

— А что случилось?

— Не знаю. Я отвез телеграмму и получил пятьдесят грошей.

— Зачем взял? Нельзя принимать деньги от чужих людей.

— Это не имеет значения. Я думаю, мама, что это не имеет значения.

— Ты молишься за него?

— За кого?

— За отца.

— Молюсь, хотя иногда забываю.

Мать встала из-за стола, подошла к свету.

— Витек?

— Что, мама?

— Помни.

— Что я должен помнить?

— Все. Ты постоянно должен помнить все.

И тут захрипел в боковушке дед. Пружины кровати взревели, как басовые струны. Витек, на ощупь находя дорогу, прошел в затхлую комнату.

— О чем вы все толкуете? Я ничего не знаю. И мне никто ничего не говорит.

— Уже поздно, дедушка. Прошел международный экспресс.

— Ветрено на дворе?

— Ветер утих, наверное, будут заморозки.

— Витек, я, пожалуй, умру. В такую пору люди умирают.

— Всегда умирают?

— Ох, пожалуй, уже нынче. Кажется, землей пахнет. С обеда чувствую, словно голова лежит в борозде.

— Спите, дедушка.

— Не могу заснуть. Боюсь уснуть. — Старик зашелся странным, визгливым кашлем. — А собственно, не боюсь. Пусть все это кончится, пусть придет конец. Господь Бог, будь милостив ко мне, грешному. Бог, но который? Тот ли, которого мне дали родители, или тот, которого я сам себе выдумал, а может, этот, существующий на самом деле и еще никому не ведомый? Витек, оставь дверь открытой, пусть я увижу хоть немножечко света, капельку солнечного блеска, чуточку того, что связывает меня с вами, с моей жизнью. Мальчик мой, как все это ужасно, как страшно так долго жить и столько пережить. Где было начало, где будет конец? Боль, грусть, страдания, обиды, то надежда, а то ее уже нет, то страшно, а то нет страха, ожидание, воспоминания, что-то гнетет, какое-то предчувствие, пустота, да какая там

пустота, нет, боль и нехватка воздуха, кислорода, удушье, бесконечное удушье, беспредельное, беспредельное, как вечность…

* * *

Кошмарное преступление студента. Минувшей ночью в V комиссариат полиции явился бывший студент университета 28-летний Юзеф Вильк, проживающий по улице Кохановского, 85, и, выложив на стол нож и веревку, заявил: я убил свою невесту в роще за Зеленой заставой, 22-летнюю Хелену Сойко, воспитанницу профессионального училища. Вильк был задержан, а на указанное им место выехали сыщики, которые обнаружили там Сойко в бессознательном состоянии. Вызванный врач «Скорой помощи» установил наличие у нее глубоких ран шеи, а также следы, указывающие на то, что ее пытались душить. Вильк познакомился с Сойко, 16-летней школьницей, шесть лет назад. От первоначального намерения жениться на ней Вильк со временем отказался, прежде всего потому, что, прервав учебу, был вынужден тайно искать

работу. По причине тяжелого материального положения он дважды покушался на самоубийство. В четверг вечером, прихватив кухонный нож и веревку, Вильк направился с Сойко за заставу. Улучив момент, по его собственному признанию на следствии, он, отдавая себе отчет в том, что делает, набросил девушке петлю на шею и, повалив ее на землю, перерезал ей горло, затем, будучи убежден, что она мертва, снял с шеи веревку и попытался на ней повеситься. Жуткое преступление является предметом дальнейшего расследования правоохранительных органов. Жизни Сойко не грозит опасность. Она доставлена в больницу. Вильк – сын инвалида войны. Учебу в университете прервал из-за отсутствия средств к существованию.

* * *

Витек ждал ее. Он сидел на каменной тумбе у вокзала под нагим каштаном. По небу торопливо скользили пузатые облака, словно сорвавшиеся с привязи аэростаты. Уважающие себя пижоны в эту пору уже не носили верхней одежды, и

поэтому Витек основательно промерз, наблюдая за стайками лицеистов, вбегавших в здание виленского вокзала. На пустоватую площадь съезжались пролетки, извозчики подвешивали лошадям торбы с овсом и собирались кучками, чтобы потолковать о житье-бытье. Время от времени подкатывал автобус, который горожане называли «арбоном». На вокзальной лестнице выстроилась шеренга носильщиков, по русскому обычаю в фартуках.

Витеку предварительно пришлось избавиться от Левки, который что-то заподозрил.

— Зачем ты тут сидишь? Кого ждешь?

— Никого. Пошел к черту.

— Я пойду к черту, только ты должен сказать.

— Не скажу. Зря теряешь время, Лева.

— Я знаю — что-то стряслось. Вещий сон видел, ей-богу.

— Левка, я дам тебе сигарету, дам тебе даже пять штук, только уходи, ты уже пропустил три поезда.

— А напишешь за меня контрольную по химии?

— Я напишу за тебя все контрольные, только уйди.

Лева колебался, поддаваясь соблазну.

— Вот видишь, что такое кацапское сердце, — вздохнул он наконец. — Ладно, будь по-твоему, я пошел. Почему я такой мягкотелый, почему любой может меня подкупить? Ведь с таким характером я погибну. Давай обещанные сигареты.

Он взял три «юнака» и нарочито медленно побрел к дверям вокзала, задержался на лестнице, прикурил у носильщика и наконец исчез в дверном проеме под часами, на которых снова проскочила очередная минута.

В конце улицы вдруг грянула солдатская песня. В сторону вокзала шли подразделения пехоты с полной боевой выкладкой. За ними тяжело громыхали по мостовой громоздкие фургоны с брезентовым верхом. Несколько сопливых мальчишек бежали по тротуару, провожая солдат.

И тут, собственно в последний момент, Витек заметил двух лицеисток, исчезающих в дверях вокзала. Кинулся за ними, потерял в толпе, запрудившей зал билетных касс, и метался, проталкиваясь среди чемоданов и узлов, до тех пор, пока не заметил их у окна за вращающимся стеллажом с расписанием поездов. Отвернувшись к окну, они второпях красили губы. Золотистый, растрепанный зайчик от зеркальца, которое они вырывали друг у друга из рук, боязливо скользил

по стене с государственным гербом. Витек овладел собой, начал с достоинством прохаживаться, наблюдая исподтишка за лицеистками.

Потом они вышли на платформу, фланировали вдоль состава, готового к отправке. Окна вагона для учащихся были забиты головами гимназистов. Слышались провокационные смешки, шипенье, свист. Девушки понимали, чем это вызвано. Взявшись под руки, они величественно шествовали по уже полупустой платформе, словно бы не замечая школярских подначек. Откуда-то сверху донеслось стрекотанье мотора. Девушки запрокинули головы, и все на вокзале поступили так же. Очень низко, почти над крышами, пролетел биплан. Мелькнуло в фонаре красное лицо пилота. Спустя минуту самолет скрылся за водокачкой, звук мотора слился с городским шумом.

Прежде чем девушки опустили головы, Витек успел приблизиться к ним на несколько шагов. Снял фуражку, изысканно поклонился. Увидал в ее глазах испуг, смущение и, вероятно, отметил про себя, что глаза эти цвета реки на мелководье, там, где она перекатывается через обомшелые каменья.

— Ах, это вы? — поспешно произнесла Алина,

преодолевая внезапный приступ страха. — Это вы принесли нам вчера телеграмму?

— И получил от вас пятьдесят грошей. Он хотел вынуть и показать монету.

— Ах, нет, нет, извините, пожалуйста. Я не хотела причинить вам неприятности. Так вышло машинально.

— Я вовсе не в обиде. Сохранил денежку на память. Не возражаете?

— Сама не знаю, — сказала она снова в растерянности. — Это удобно, как ты думаешь, Зуза?

Подруга захихикала, пряча лицо в ее волосах, напоминающих серый бархат. Витек еще раз поклонился и пошел якобы своей дорогой. Но тут же остановился, не оборачиваясь. Ждал, пока тронется поезд. Краем глаза заметил, что они садятся в вагон второго класса, высокомерно проигнорировав ученический. Поезд с утробным стоном тронулся, покатил лениво, со скрежетом. Только тогда Витек вспрыгнул на подножку вагона, в который сели девушки.

Он уже знал, где они устроились. Дверь их купе была открыта, ветер выплескивал в коридор льняные занавески. Витек подошел осторожно, на цыпочках, затаив дыхание, хотя звук его шагов заглушался грохотом поезда. Услышал знакомое

хихиканье. Робко вытянул шею, чтобы заглянуть в купе, и сразу увидал веселые глаза обеих подружек. Они ждали его появления. Витек небрежно поклонился и, повернувшись к ним спиной, расставил локти в спущенном окне. Поезд мчал в глубь широкой долины, по которой текла Виленка. Стена обрывистых холмов устремлялась все выше к небу. Спутницы загадочно молчали.

Витек медленно повернулся спиной к окну, ощущая затылком напор влажного ветра. Девушки глядели на него невозмутимо, выжидательно, с наигранной серьезностью. Зузу словно бы слегка знобило.

— Извините за вторжение. Я не знал, что вы едете в этом купе.

— Ах, пожалуйста, — проговорила Зуза, преодолевая озноб. — Можете даже присесть на свободное место.

— Благодарю, не стоит, сейчас будет наша станция.

— Вас продует. Жаль такого кавалера.

Витек хотел отшутиться, попробовал найти подходящие слова и, разумеется, упустил момент. С минуту слушали хорошо знакомый перестук колес — Алина вдруг подняла глаза, и он увидел в них нечто неопределенное, мимолетное, как

предчувствие. Его бросило в жар.

— Почему я раньше никогда вас не встречал? Вы стали ездить на поезде в лицей только после пасхальных каникул?

— Я езжу уже полтора года.

— Это невозможно, — произнес он растерянно. — Я первый раз вижу вас в поезде. И вообще впервые в жизни увидал вас вчера.

Она перевела взгляд на окно, вероятно для того, чтобы он не мог увидеть ее лицо.

— Ах, вполне возможно. Вы даже не раз толкали меня мимоходом. А зимой кидались в нас снежками на станции.

— Нет, право, невозможно. Я наверняка бы вас запомнил.

Алина взглянула на него печально, впрочем, печаль эта не была убедительной.

— И все-таки. И пожалуй, не стоит об этом говорить. Попросту полтора года вы не обращали на меня внимания. Бывает. Я это как-нибудь переживу.

— Почему вы так говорите? Ведь это неправда.

— Что не переживу?

— Нет, что не обращал внимания.

Теперь смутилась Алина и принялась старательно застегивать портфель, который и без того

был хорошо застегнут.

— О, уже остановка! — воскликнула Зуза.

Подружки бросились к выходу, поскольку поезд стоял здесь лишь минуту. Витек спрыгнул с подножки в последний момент. Девушки были уже далеко. Витек потоптался на платформе, словно боясь идти дальше. И вдруг Алина оглянулась и на ходу крикнула:

— До свидания!

Витек стыдливо вскинул руку. И тут кто-то бесцеремонно хлопнул его по плечу.

— Так ты ее дожидался, лопух? — спросил с издевкой Лева. — Я наблюдал за тобой всю дорогу. Которая тебе нравится? Вероятно, Алина?

— Я вообще не знаю, нравится ли мне что-либо. Пожалуй, немного медицина.

— Зачем ты мне это говоришь?

— Ведь я же эгоцентрик, понятно? Не знаю, смогу ли кого-нибудь когда-либо полюбить.

— Спорим?

— Ты чего?

— Спорим, что она тебя уже прибрала к рукам.

— Кто?

— Алина.

Витек принялся старательно вытаскивать из-за пазухи тощую пачку учебников и тетрадей. Это

был тоже особый форс здешних пижонов — не носить портфеля.

— Некрасивое имя, — бросил он небрежно.

— Потом покажется прекрасным.

— Чего ты ко мне пристал? Может, ревнуешь?

— Возможно. Спорим?

— На что?

— Ни на что. Если выиграю, кое-что у тебя потребую.

— Не слишком ли велика ставка?

— Нет. Требования будут в пределах наших возможностей.

— Ты к ней неравнодушен, Лев Тигрович?

— Сам же говорил, что положил на нее глаз лишь пару дней назад.

— Она утверждает, что живет здесь уже полтора года. Это правда?

— Может, и правда. Так разнимаю?

— Что я могу у тебя выиграть?

— То, что и я у тебя. Давай лапу.

Стая скворцов небольшим облаком упала на сады предместья. Витек, быть может, подумал, что такое условие ему, собственно, на руку в данный момент, за несколько недель до выпускных экзаменов.

— Будь что будет, условие принимается, — вы-

палил он и тут же пожалел о своем решении.

* * *

В те времена лошадей было почти так же много, как и людей. Лошади вместе с людьми цивилизовали землю. Все построенное ранее возникло при участии лошадей. Каждый метр земли был возделан с помощью конских мускулов. Лошади вкалывали наравне с людьми, а может, даже больше. С яростным упорством лошади и люди преобразовывали свою планету. Хотя делали это, собственно, не дружа, не панибратствуя. Вкалывали вроде бы вместе, но и как бы порознь, с некоторым безразличием к судьбе напарника. Редко возникала между ними любовь. С подспудным ощущением общности судеб приступали они к каждодневному каторжному труду. Чаще всего объединяло их только кошмарное напряжение сил. Реже — общий праздник.

В те времена лошади встречались так же часто, как и люди. Лошади влекли по улицам телеги ломовиков и катафалки, лошади приводили в действие молотилки и месили компост, лошади несли на своих хребтах воинство и питали солдат своим мясом, лошади находили дорогу заблудившимся и своим теплом обогревали озябших.

Были лошади богатые, распутные, капризные и привередливые. Были также лошади-побирушки, бедняки и лагерные доходяги. Иногда лошади погибали от обжорства, раздутые молодым клевером, а порой умирали посреди мостовой от голода и болезней, как люди. Были также лошади норовистые, буйные и необычайно покладистые, известные на всю округу и даже за ее пределами, а были лошади скромные, ничем не выделяющиеся, словно бы безликие и вообще безымянные.

Попадались лошади с незаурядными биографиями. Мы знали коня, который был под седлом у русского генерала, после революции работал в цирке, потом попал в деревню, где полюбился помещику, который купил его для своих детей, наконец, конь потерялся или был украден цыганами и на склоне лет развозил уголь по предместью, где жили Алина и Витек.

Каждый в те времена прекрасно знал, что не бывает двух одинаковых лошадей. Прежде всего, они отличались мастью. Были лошади сивые, карие, гнедые, каштановые, буланые, мышастые. У одной белая звездочка на лбу, у другой светлые чулки. О хвостах лучше не вспоминать, ибо такое их было богатство. А гривы? Только о гривах можно распространяться до вечера.

Пожалуй, неправда это, что люди не любили лошадей. Любили, бывало, что любили, впрочем, любили все-таки недостаточно. Конечно, случалось видеть лошадь в дурацком виде от такой любви. На ушах полотняные чехольчики с бордовым кантиком, у глаз кожаные шоры, чтобы ничего ее не пугало, грива заплетена в косички или изысканно причесана, ну и хвост, конечно, весь в сплетениях и ленточках. К тому же в подобных случаях трудно было понять, любовь это к лошади или самовлюбленность.

Много тогда было разговоров о норовистых лошадях. Целые легенды слагались о лошадях, которых никому не удавалось ни укротить, ни обуздать. Такие лошади делались знаменитостями, их имена кружили в те поры, как ныне имена популярных эстрадных певцов. Любой уважающий себя человек носил на себе шрам от удара копытом своенравной лошади.

Да, то были времена, когда даже лошади-привидения появлялись в урочищах. Лошадиные призраки извергали огонь из ноздрей. Их копыта взметали тучи красных искр. Очень часто после полуночи слышался топот дьявольского коня на пустошах и в лесных чащобах.

Кто не купал лошадей, уцепившись за гриву

или хвост, в широкой реке или глубоком озере? Кто не пас лошадей на влажном от росы лугу августовской ночью, под градом падающих звезд? Кто не вырывал у чужой лошади волос из хвоста, чтобы смастерить леску для удочки? Кто не давился морозным воздухом, летя на лыжах, влекомых лошадью? Кто не припадал головой к мягким, горячим конским ноздрям?

В те времена лошади рождались на наших глазах, и это было первое познание сокровенной тайны бытия. На наших глазах лошади трудились до упаду, очаровывая нас удивительным, беспредельным трудолюбием. На наших глазах лошади умирали, и это вызывало внезапное предызвестие вечности или ледяной, бесконечной пустоты.

Пожалуй, мы все-таки мало любили лошадей. То есть, будучи детьми, вполне достаточно, зато позднее, с течением времени, уже все меньше. Лошадей мы тоже обидели.

* * *

Витек сидел на крутом откосе у железнодорожного полотна и ждал. В руках держал учебник, куда порой заглядывал, пытаясь читать. Однако почему-то ничего не мог понять и сызнова при-

нимался за один и тот же абзац. Он убегал сюда, на этот упругий сухой мох, на молодую бледно-зеленую траву, чтобы позаниматься в спокойной обстановке, хотя это была только уловка для оправдания перед матерью и самим собой. Витек хотел увидеть прибытие полковника Наленча, а если честно признаться, хотел увидеть, как выглядит кузен, о котором извещала телеграмма.

Время от времени проезжали пригородные поезда, с оглушительным грохотом громогласно скрежещущего железа проносились курьерские, сверкая никелем, медными поручнями, серебристыми надписями и цифрами. Останавливались с достоинством между усыпанными песком платформами. Пан Кежун вытаскивал из почтового вагона тощий мешок с красной полосой, пломбой на проволочке и треугольным листком описи, похожим на большой аптекарский рецепт. Разношерстные пригородные, составленные из диковинных и невероятных древних вагонов, напоминали передвижные забавные музеи. Из этих поездов высыпало особенно много пассажиров: запоздалые школяры, служащие с портфелями и зонтами, путейцы с деревянными сундучками и притороченными к ним карбидными лампами, дамы, возвращавшиеся со свиданий и из парик-

махерских. Однако среди этих приезжающих не было полковника Наленча, а следовательно, и таинственного кузена.

Витек снова брался за чтение той же самой главы, скользил взглядом по непонятным строчкам до конца страницы, чтобы тут же возвратиться к началу текста. Большая стая галок погналась за ястребом, который слишком снизился в поисках добычи. Над городом, точнее, над его центром висело тяжелое облако дыма. Донесся мрачный и далекий перезвон церковного колокола. Кто-то пел душераздирающим голосом на берегу Виленки, может, тронутый или пастух, противоположный край долины отражал этот голос стекой обнаженной дубравы, хриплое, дикое пение возвращалось сюда, к подножию откоса, возвышающегося над путями.

Когда со дна долины начал подыматься прозрачный сумрак, пахнущий паводком, то есть раскисшей землей, прелым листом и пресной сыростью, Витек понял, что не увидит уже прибытия полковника и кузена. По пустому склону, яростно лая, мчалась ватага собак. То ли в погоне за каким-то зверьком, то ли справляя собачью свадьбу.

Витек захлопнул учебник, загнув уголок стра-

ницы. Вышел на улицу, которая вела к Верхнему предместью. Он смотрел на булыжники мостовой, напоминающие человеческие черепа, и, вероятно, испытывал ту щемящую боль неудовлетворенности, которую изведал в молодости каждый, но только в молодости тех лет.

— Витек! Витек!

Это Энгель, то есть Энгельбарт, он висел на заборе и манил его свободной рукой.

— Мне некогда! — отмахнулся Витек.

— Ты непременно должен зайти. Грета очень просит. Она совершенно не понимает «Песни» Кохановского.[xiii]

— Может, завтра. Сегодня не могу.

— А прежде мог.

— Сам знаешь, как я занят.

— Грета тебя очень просит.

— Извинись перед ней за меня.

— А куда ты идешь?

— Куда иду? Никуда не иду.

— Как это, ведь ты идешь наверх.

— Чего ты от меня хочешь, Энгель?

— Я ничего, только Грета просила. Слышишь? Грета очень просила.

[xiii] notes: ~ _edn13 ~

[xiii] *Ян Кохановский* (1530–1584) — польский поэт, основатель национального стихосложения.

Витек уже ничего не слышал. Он мчался изо всех сил напрямик через лес. Удивительно светленькая белочка убегала от него, не решаясь выбрать подходящее дерево. Наконец она вспрыгнула на старую сосну и устремилась к вершине, где обитал торжественный шум колыхавшихся крон.

Потом Витек остановился и долго смотрел на знакомую виллу, на сад, спускавшийся террасами в глубокий овраг. Наконец разглядел автомобиль у стены дома, синий польский «фиат», смахивавший на жестянку из-под чая. Молодой человек в брюках гольф и бархатной студенческой фуражке вытащил из машины саквояж. Понес его к крыльцу, где кто-то маячил в багровом прямоугольнике света.

Витек, прячась в кустах, пробрался к ограде. Затрещал бурьян, и показался знакомый пес-великан неопределенной породы. Он тяжело продирался сквозь сухой малинник. Наконец присел перед Витеком по ту сторону металлической сетки и залаял то ли враждебно, то ли по обязанности, но, скорее, неубежденно. Красный язык величиной с носок свешивался вбок из его открытой пасти.

— Ну что, зайчик? — шепнул Витек. — Узнаешь

меня?

Великан запищал действительно как заяц и переступил с лапы на лапу.

— Поменяемся с тобой. Дай мне свою шкуру, и я войду к твоей хозяйке и пробуду с ней незамеченным до поздней ночи.

Пес перебросил язык на другую сторону пасти.

— Так по крайней мере разреши мне войти.

Витек просунул руку сквозь ячейку сетки. Пес приблизился довольно безразлично, обнюхал ладонь и вдруг ухватил зубами пальцы. Витек затаил дыхание. Наверное, услыхал биение своего сердца. Услыхал и пес, ибо зарычал тихонько, не отпуская руки.

— Позволь мне войти. Не мешай. Я буду помнить этот вечер всю жизнь и тебя буду помнить. Запечатлю тебя в своем сознании навсегда, зайчик. Ты станешь знаменитым псом, и тебя полюбят люди, которые никогда не любили собак.

Пес отпустил руку и попятился на прежнее место.

— Ладно, — шепнул Витек. — Либо ты меня съешь, либо я буду жить долго и счастливо.

Он нащупал носком ботинка ячейку покрупнее. Вскарабкался на полметра и ухватился за колючий гребень изгороди. Подтянулся на руках,

перебросил ноги на другую сторону. Пес деликатно отвернулся, глянул на дом, окна которого распыляли теплый, дремотный свет.

Витек спрыгнул в озябшую крапиву, разодрав попутно штанину, которая жалобно затрещала. Пес приблизился и схватил Витека за руку. Вдвоем они двинулись к дому, но, когда Витек пригнулся, чтобы его не заметили из окна, пес зарычал предостерегающе. Дал понять, что осуждает.

— Что я, собственно, делаю? Чего добиваюсь, зайчик? Ведь я же эгоцентрик, который готовит себя к карьере.

Остановились под окном за кустами сирени. У невидимого стола сидели за чаем обитатели дома. Среди них кузен с буйной светлой шевелюрой и ямочкой на волевом подбородке.

— Взгляни, зайчик, — произнес вполголоса Витек. — Твоя хозяйка так себе. Я ее вообще не замечал полтора года, то есть половину твоей жизни. Что же заставило меня лазить ночью по заборам? А знаешь, как у меня бьется сердце? Может, присядем тут на камушке? Понимаешь ли, зайчик, мне неохота возвращаться домой. Такой великолепный вечер. Посижу немного, может, что-нибудь произойдет.

По ту сторону оврага лес шумел, как водяная мельница. Одинокие звезды показывались и исчезали, скрываемые незримыми облаками. Безграничная, грустная тишина давила на землю, пахнущую новью.

Витека бросило в дрожь от холода и эмоций. Пес положил влажную морду на его подрагивающее колено.

— Ты слышишь, зайчик, бесконечность? В ее недрах кроется моя судьба. Я буду жить так, как еще никто не жил.

Совсем неожиданно Витек обнаружил, что в окне столовой уже темно. И его охватила тревога, почти паника. Весь вечер пропал зря. Поискал взглядом светящиеся окна. И обнаружил единственное, в мансарде, насыщенное розоватым светом, как отверстие морской раковины.

Витек сунул в горячую пасть пса учебник химии. Пес грозно зарычал, но обронить книгу не посмел. А Витек уже взбирался по решетке, поддерживающей густую поросль мертвого еще винограда.

Ухватился за желоб, полный песка и камушков, которые неизвестно откуда здесь взялись. Над желобом был узкий навес, крытый гонтом. Витек взгромоздился на эту покатую полочку. Желоб

недружелюбно крякнул. На четвереньках он пополз к окну, источавшему розовое сияние. Внизу пес взбудораженно носился вдоль стены. Ворчал беспомощно, давясь толстым учебником.

Сквозь муслиновую занавеску Витек увидел комнату с наклонными стенами и увидел Алину, сидящую за письменным столом. Она что-то писала великолепным вечным пером, которое по тем временам было большой редкостью. Писала в узкой, как дубовый лист, книжке с золотым обрезом. И мог это быть дневник, и могла она записывать только события минувшего дня.

Витек вцепился пальцами в оконный переплет. Лицо вдруг сделалось влажным, к губам побежали капельки, и во рту сделалось горько. Это всего-навсего заморосил тихий, весенний дождик, ласковый, потому что его не подхлестывал ветер.

«Я увижу ее, увижу обнаженную, первую обнаженную женщину в моей жизни». И неожиданно, в предчувствии какой-то радостной, волнующей жути, Витек задрожал еще сильнее, а вместе с ним задрожал и желоб, наполнявшийся дождевой водой.

Внизу пес встал на задние лапы. То ли хотел лучше видеть, то ли просил не подглядывать.

— Я знаю, зайчик, что это отвратительно, — прерывисто зашептал Витек. — Знаю, что буду стыдиться этого до конца жизни. Но только раз, единственный раз. Она беззащитна, уверена, что одна, мой поступок ужасен, ко я не отступлю. Наверняка стану презирать ее и успокоюсь. И никогда уже не вернусь сюда.

В нем начало пробуждаться нечто неведомое, неприятно заворошилось, впрочем, не так уж неприятно, заходило ходуном, жарко, властно запульсировало, разрастаясь, набухая, заставляя задыхаться от безграничного лихорадочного нетерпения. На стекле расплывалось туманное пятно от дыхания, и Витек стер его дрожащей ладонью. Между тем Алина потянулась, воздев руки, как бы желая отбросить низкий потолок, словно люк, и увидеть звезды. Завинтила вечное перо, захлопнула дневник. Зевнула без смущения, не заслоняя рта. С минуту раздумывала, а потом погасила свет.

Витек застонал от отчаяния.

— Это конец. Господи, что она делает? Все пропало. Наверняка схвачу воспаление легких. Умоляю, заклинаю тебя во имя всего святого. Во имя папаши, мамаши и этого кузена. Зажги свет. Что тебе стоит? Тебя не убудет. Сделай это

единственный раз в жизни. Ну, слышишь, зажги немедленно. Приказываю тебе изо всех сил. — Витек предельно напряг зрение, даже в висках заломило. В комнате по-прежнему было темно. В злополучном мраке что-то закопошилось, и Витек окончательно уверовал — это все. Девушка томно скользит под одеяло в прохладном пододеяльнике с мережкой.

И тут внезапно затеплилась маленькая золотистая лампочка на ночном столике. Витек захрипел облегченно. Девушка, еще одетая, откидывала угол одеяла в пододеяльнике с мережкой.

А потом началась та, слишком короткая мистерия, которую Витек усилиями всей своей воли растягивал в мыслях и памяти. Девушка расстегнула на спине платье и сонным движением стянула его через голову. И в том, как она стягивала платье, в ее мягких, ленивых жестах, словно издавна знакомых, в этих плавных движениях было столько волнующего изящества, что он сознательно запоминал их на всю жизнь, вернее, на все ночи жизни. Потом растаяли во мраке белые бретельки лифчика. Витек увидал ее спину, удивился, что она не такая худая, как кажется под платьем. Заметил хрупкость, неж-

ность, потрясающую обтекаемость этой спины. Уловил золотистый оттенок кожи, то ли от света лампы, то ли от прошлогоднего загара. Кожи, как бы жаждущей прикосновения сильных, нежных рук. Какую-то долю секунды он поражался покатости ее плеч и успел подумать, что эти покатые, беззащитные плечи будет любить до конца жизни. Тут она неторопливо обернулась. Витеку что-то красное залило глаза, может, кровь, может, слезы или дождь, а вернее всего, бурный всплеск эмоций. Он хотел разглядеть и запомнить все получше, подольше не терять из глаз, а видел лишь какие-то осколки вперемешку с красными пятнами и не знал — реальность это или небыль. Мелькнули две поразившие его округлости, существующие словно сами по себе, совершенные, трехмерные, раскаленные добела, сладостно бесстыдные и как бы небрежные, чуточку сонные, они словно предрекали что-то страшное, неведомое и на удивление почему-то искони знакомое. И обе с разверстыми для крика пухлыми, розовато-голубыми, как цветущий вереск, устами. Нет, не разверстыми для крика, а сложенными для поцелуя. И все-таки были это не уста, а золотые венчики эдельвейса, а может, две крупные капли меда. Затрепетала голубизна

ночной рубашки, как дым над костром, мелькнула пышущая жаром, погибельная чернота в развилке ног, и одеяло исподтишка скользнуло на девушку. Витек хотел глотнуть воздуха, разъял стиснутые челюсти, багрянец в последний раз хлестнул его по глазам, и он с изумлением, вялым и безразличным изумлением обнаружил, что не держится за оконную раму, не упирается ногами в железный желоб, полный песка, а прямехонько летит вниз, внемля шепоту весеннего дождя.

Свалился он на пса, который с истошным воем обратился в бегство. Привела в чувство Витека шумная суета. Полковник Наленч в длинном халате гремел ключами. Витек с холодным любопытством взирал на его старания. Наконец неподатливый засов отпустил, дверь скрипнула, и только тогда он понял, в чем дело. Неуклюже пустился наутек, переползая среди кустов.

Полковник Наленч возник на крыльце. Включил фонарик с огромным рефлектором и принялся освещать им сад.

— Рекс, Рекс, к ноге!

Показалась тень пса, который отнюдь не спешил припасть к стопам своего господина. Попискивая, как заяц, он дурашливо топтался на приличном расстоянии от крыльца.

— Что тут творится? Кто ходит по саду?

Пес залаял с бахвальством в голосе, однако получилось у него не слишком убедительно, поэтому он умолк и оторопело уселся посреди лужи.

— Дождешься, бездельник, отдам живодерам, чтобы сало из тебя вытопили.

Полковник еще раз пырнул лучом света в гущу нагих деревьев и пустого кустарника. Покашлял и вернулся в дом.

Витек поднялся с земли. Машинально отряхнул испачканные штаны. Он насквозь промок и тихонько стучал зубами, но теперь уже только от холода и усталости. Усталость была столь велика, что пришлось искать поддержки у развесистой яблони.

— Странная вещь произошла, зайчик, — шепнул он беззвучно. — Я совершил ужасное свинство.

Пес подбежал, прихрамывая, остановился перед Витеком, обнажил клыки, огромные, как зубья грабель.

— Все в порядке. Успокойся. Больше ты меня здесь не увидишь. И я никогда не покажусь на глаза твоей хозяйке. Что, собственно, со мной произошло? Ведь я мог бы, если бы хотел. Столько

девушек. На любой вкус. Но главное для меня — выпускной экзамен и медицинский факультет. Как это случилось? Где моя карьера?

Пес слушал, оскалив зубы. И вид у него был злой и препротивный.

— Это был первый и последний раз в жизни. Прощай, друг.

Витек с трудом побрел к ограде. Отчаянно хромавший пес трусил рядом, уже не прихватывая зубами руку. Витек с усилием вцепился в металлическую сетку. И тут пес молча куснул его за мягкое место у заднего кармана брюк. От резкой боли Витек машинально лягнул ногой, зашибленный пес взвыл дурным голосом.

Только перевалившись через сетку, Витек ощутил саднящее место. Хотел присесть на пень, да раздумал. Пес стоял за сеткой. В горле его перекатывался сдавленный, явно зловещий скрежет.

— Погляжу последний раз, — проговорил вслух Витек.

И долго смотрел на черный дом, выдававший себя лишь бликами на стеклах, в которых снова возникло звездное небо, смотрел на застывший сад, на паутину изгороди, навсегда отделившую его от Алины.

* * *

Покушения на самоубийство. Ядвига Козелл (ул. Хлодная, 30) попыталась покончить с собой, выпив большое количество йода. «Скорая помощь» оказала пострадавшей первую помощь. Двадцатипятилетняя Чеслава Зайонц (ул. Любельская, 30), желая покончить самоубийством, выпила уксусной эссенции. «Скорая помощь» доставила ее в больницу Преображения Господня. Розалия Мотыль, тридцати пяти лет (ул. Сероцкая, 13), с целью самоубийства выпила соляной кислоты. «Скорая помощь» доставила несчастную в больницу «Иисус-дитя».

Чудо в Канаде. Монреаль. Парализованная одиннадцатилетняя девочка исцелилась, поцеловав Святые Дары в соборе святого Иосифа.

* * *

Лес шумел зловеще. И у леса этого не было конца. Замысловатыми выкрутасами он обвивал город, широкими ответвлениями добирался

до боров, а те сливались с бескрайней пущей, которая, как морской прилив, устремлялась на восток, заполоняя Белоруссию. У этого леса, разделявшего лохматыми клиньями предместья, были могучие старшие братья. Поэтому и шумел он голосом дебрей.

Витек спускался в долину, волоча ноги. Он едва-едва справлялся со своим ослабевшим телом, которое тянуло вниз, в сумрачную пропасть леса. Витек никогда еще так не уставал. Сквозь шум деревьев он услыхал стук дятла и нисколько не удивился, хотя обычно по ночам дятлы не выстукивают больные деревья.

Ничуть не испугался, даже когда из глубин ночи в него внезапно ударил ослепительный луч света. Только остановился и заслонил до боли зажмуренные глаза.

— Кто здесь? — спросил темноту.

Фонарик погас. Кто-то подымался в гору, тяжело отдуваясь, и это был не полковник Наленч.

— Извините, — сказал неизвестный. — Я заблудился.

— А кого вы ищете?

— Хотел попасть на улицу, которая ведет к гимназии, к каменной. Мне казалось, что иду верным путем.

— Нет, здесь вы выйдете к офицерскому поселку.

— Ах, к офицерскому поселку? Это не то, поселок мне не нужен. Гимназия нужна.

— Надо вернуться к развилке и повернуть вправо.

— А может, вы меня немного проводите?

Витек с минуту раздумывал. Незнакомец стоял, опустив фонарик, который выхватил из ночи кружок земли с рыжими листьями и гроздьями гниющих желудей. Вдруг раздался хриплый голос кукушки, и Витек узнал позывные виленской радиостанции.

— Я слышу радио, — сказал он. — А вы слышите?

Зазвучала симфоническая музыка, незнакомец также слушал, словно что-то припоминая, потом негромко чем-то щелкнул, коснувшись плоского ящичка, который, словно ягдташ, висел у него на плече.

— Вы покажете мне дорогу, пан Витек?

— А откуда вы меня знаете?

— Знал когда-то, но теперь уже едва помню. Проводите, будьте любезны.

И незнакомец двинулся вниз, по крутой, скользкой тропинке, а Витек последовал за ним. Нашли

развилку, и тут незнакомец, взяв его под руку, повернул направо.

— Как благоухает лес, потом мне никак не удавалось припомнить эти ароматы. А сейчас я различаю запах сырой, прохладной хвои, застывшей смолы и горькой прели подлеска. Если память меня не подводит, вы собирались изучать медицину?

— Да. Сперва сдам выпускные экзамены. Через три недели.

— Аттестат зрелости был важной штукой, — сказал незнакомец.

— Когда был?

— Во времена моей юности.

— Я вас не знаю, правда ведь?

Незнакомец отпустил руку Витека. Они пересекли поляну, потом пришлось обойти остатки лыжного трамплина, сооруженного Витеком и его друзьями прошлой зимой. Незнакомец был странно одет, вроде бы на заграничный лад. На голове кожаная кепка, мокрая от дождя, кургузое пальтецо из тонкого, неизвестного материала потемнело на боках от сырости. Под козырьком тускло поблескивали огромные очки в толстой оправе, каких никто не носил в Вильно.

— Знаете, пан Витек, в один прекрасный мо-

мент, пожалуй, после сорока, да, после сорока с гаком, ибо тогда умерла моя мать, я начал думать, то есть конструировать свою предполагаемую судьбу, постарался представить себе, какой была бы моя жизнь день за днем, если бы я отсюда не уехал. А думать в таком духе начал, возвращаясь с похорон матери. Ибо мать моя умерла в небольшом приморском городке, и море, даже незримое, всегда ощущалось в ее доме. Мать умерла на чужой земле, хотя всегда хотела умереть здесь и покоиться на маленьком погосте у костела, на лесистом склоне, заросшем кустами волчьих ягод.

— Но там нет никакого погоста, — сказал Витек, и ему стало не по себе. — Там обыкновенная лесная поляна, на которой служки разжигают кадила и тайком курят сигареты.

Незнакомец остановился, словно невзначай смутившись.

— Да, там еще нет погоста. Он возникнет лишь к концу войны. Итак, я возвращался с похорон матери, которые мы провернули в два счета, без особых церемоний, хоть и по всем правилам обряда. Я познакомился тогда с родственниками, которых отродясь не видывал. Мы подскочили на рысях в больничную часовню или, скорее, мертвецкую. Это было холодное кирпичное строение.

Больничный доходяга распахнул широкие, как у гаража, ворота. Мама лежала в сосновом гробу. Тапочки едва держались на пальцах чудовищно распухших ступней. Санитарки вовремя не прикрыли веки, и мама смотрела в бетонный потолок вышедшими из орбит глазами, в которых запечатлелось жуткое отчаянье смерти, леденящий ужас лицезрения порога вечности. А в распахнутые двери хлынул на нее горячий июньский воздух, в котором плавали пушистые зернышки неведомых деревьев. Сразу же нашлись зеваки: небритые старики в больничных халатах, какие-то здоровущие девахи с иссиня-багровыми икрами. Я стоял на коленях в ногах гроба, хотел молиться, искал в окаменевшей памяти слова молитвы, да не много их сумел найти, поэтому бормотал нечто вроде клятвы или покаяния, и было мне страшно и противно, так как заметил я на дне гроба, на белом полотне, серо-зеленую сукровицу, которую уже выделял труп моей матери, труп неестественно вздувшийся и застывший навечно. Я отчаянно, с отчаяньем, которое недорого стоит, и торопливым сожалением думал о моей матери, о том, что слишком мало любил ее, скорее, вовсе не любил, что вообще неизвестно, что такое любовь, а что благовоспитанность, что

такое признательность, что — эгоизм, что такое память, а что угрызения совести. Потом мы повезли маму на погребальном автобусе на чужое кладбище, беспорядочно разбросанное среди сосен по широкому склону холма, где косили траву, кормили грудью младенцев и шныряли среди могил собаки; где царили захудалое, выродившееся величие смерти и разгул бесстыдного многообразия жизни. Ксендз отправлял обряд с некоторым недоверием, удивляла его весьма скромная похоронная процессия, состоящая из сына и кучки родственников. Потом мы зарыли маму, воткнули в скудную, желтоватую землю деревянный крест, причем кто-то забыл подготовить табличку, и незнакомый мне кузен нацарапал шариковой ручкой на перекладине имя и фамилию матери, чтобы не перепутать могилу. А потом мы загудели, выпили с родственниками полтора литра. Поначалу пили скорбно, со слезами, потом весело и бессовестно. Поздним вечером родственники повели меня на вокзал. Шли мы от забора к забору, от стены к стене, все завершилось древнеславянским лобзанием в уста, паузами из-за нехватки слов, скупыми слезами, пожиманием пятерней, окаменевших от работы. Я упал на лавку, поезд предостерегающе

громыхал по изношенным рельсам, а я, постепенно трезвея, возвращался на свою собственную, будничную тропу, к своим желаниям, амбициям и к мыслям, которые откладывал на этот сакраментальный день. После полуночи я вдруг перенесся, как во сне, в далекое прошлое, в эту почти забытую долину, и принялся раскручивать свою другую судьбу, свою иную жизнь, которая бы реализовалась, если бы мне не пришлось когда-то внезапно уехать отсюда солнечным воскресным днем, таким днем, какие бывают здесь в конце мая.

Вышли к началу улицы Веселой. Электрические лампы в молочных колпаках сонно качались на деревянных столбах. Незнакомец погасил фонарик и незаметно сунул его в карман пальто.

— Я сегодня влюбился, а потом разлюбил, — вдруг признался Витек.

— В кого?

— В одну девчонку из офицерского поселка.

— Ага, припоминаю, да, помню. Ее звали Алина, а может, Эмилия.

— Алина. Откуда вы это взяли?

— Из своей памяти. Вы будете отчаянно любить друг друга вплоть до…

— Вплоть до чего?

— Сам увидишь, ждать недолго.

— Откуда вы это знаете?

— Идем, проводи меня до гимназии.

— Не могу, надо возвращаться домой. Мама будет беспокоиться.

— Идем, я закончу рассказ о моей второй жизни. — Он опять взял Витека под руку. Где-то в мокрых садах обиженно тявкали собаки, страдающие бессонницей. — Итак, возвращаясь со скоропалительных похорон, на которых мне довелось соприкоснуться со старыми, добропорядочными детьми этой земли, еще в трясущемся вагоне начал я боязливо раскручивать свою вторую, предполагаемую жизнь, каковой избежал чудом, благодаря каскаду случайностей, бурному потоку всевозможных комбинаций и инцидентов, погребенных в клоаке истории. Увидал себя с огрубевшими чертами, преждевременно состарившегося, может, в окружении болезненных детей и усталой, как животное, жены неопределенного возраста. Представил себе, что не кончал гимназии и университета, не набрался опыта, обретаемого благодаря контактам в высших сферах, не постиг смысла, а точнее, бессмыслицы всеобщего прозябания, что не совершил всего задуманного, не ухватился алчно

за то, чем хотел обладать, и что все добытое, достигнутое, вырванное у жизни, судьбы, хаоса не рассыпалось в руках, как щепотка паленого человеческого волоса. В этом ночном провинциальном поезде я словно бы становился кем-то другим, собой, но иным, с простыми желаниями, гонимым примитивными инстинктами, слепым и бесчувственным, безразличным к манящим далям, к волнующей и сладостной, ранящей и щекочущей, призрачной и соблазнительной горечи жизни. Я постепенно становился лишенным самопознания страдальцем, лишенным и шелковых одежд, и сифилитических язв, получеловеком, особью, утратившей ощущение боли существования. Ходил ежедневно на рассвете на работу, вкалывал восемь, а может, и десять часов, на завтрак, обед и ужин ел одну и ту же картофельную похлебку с разваренными волокнами тушенки. После работы усаживался на крыльце и бессмысленно глазел на пролетающих скворцов. Порой, малость заложив за воротник, давал тумака прихворнувшему ребенку или канючившей жене. Где-то за горизонтом хрипел мир в конвульсиях бешеного ускорения цивилизации, а я вставал и ложился, ел и испражнялся, вкалывал и спал без сновидений, глядел на небо, деревья, на

реку, ничегошеньки не воспринимая. Не переживал внезапных приступов страха перед бездной небытия, не жалел минувших дней, не желал легкой смерти, не тосковал по святой вечности. Та, моя предполагаемая жизнь бежала, как соседняя линия железной дороги, рядом с моей подлинной жизнью, и меня вдруг потрясла мысль, что обе эти линии могли многократно перепутаться и что могут еще перепутаться в будущем. Потом из недр ночи в неторопливо влекущемся поезде возникло и обуяло меня дерзкое желание, чтобы все перепуталось, и мне захотелось влезть в якобы свою, и все-таки и не свою, шкуру, пережить свой, и все-таки не свой, поскольку я с ним разминулся, вариант жизни. Витек высвободил руку.

— Это здесь, — сказал он очень тихо. — Здесь каменная гимназия.

— Я знаю. Узнаю, только не вижу пруда, где по весне полно стрекоз и тритонов.

— Пруд возле другой гимназии, деревянной.

— Мне тут едва не выбили глаз камнем на большой перемене.

— Мне тоже едва не выбили, — произнес испуганно Витек.

— Да, тебе едва не выбили, — подтвердил незнакомец. — Возвращаемся.

Назад пошли по параллельной улице. Костельной. Пробежал, громко шмыгая носом, простуженный мальчишка. Незнакомец часто останавливался, жадно озирался по сторонам. Вероятно, все-таки открывал нечто особенное в позеленевших от зимней плесени заборах, в безликих деревьях садов, в уснувших домах, так похожих друг на друга.

— На этой вилле я тайно учился во время войны. Еще не была пристроена застекленная веранда, где мы снимали запачканную обувь.

Витек хотел о чем-то спросить, но испугался собственного любопытства. Вероятно, подумал, что лучше не спрашивать.

— Я, собственно, даже не помню, как она выглядит, — выпалил он внезапно.

— Кто?

— Та девушка. Не могу вспомнить сейчас ни глаз ее, ни лица, ни волос. Это странно.

— Более чем странно.

— Что вы имеете в виду?

— Ты помнишь нечто большее, чем внешность. Ты помнишь ее в целом. Потом это поймешь.

Незнакомец остановился у калитки костела. Стиснул руками прутья ограды. Сквозь маленькие оконца виднелся красноватый свет лампады

у главного алтаря.

— Почему вам хотелось увидеть гимназию? Ведь вы ее даже не осмотрели.

— Не знаю. Шел, словно там было важное дело, а потом забыл. Мог бы с таким же успехом пойти на французскую мельницу, или на старую бумажную фабрику, или на берег Виленки.

Миновали костел, ступили на тропу, сбегавшую зигзагами к Нижнему предместью.

— Тихо, тсс… — шепнул незнакомец. — Слышишь, лес? Слышишь, как он со мной заговорил? Узнал меня и поздоровался. Он меня хорошо помнит. Должен помнить. Эти деревья видели меня ребенком, когда подрос, я их калечил, устраивая им весеннее кровопускание, а позднее эти же самые деревья спасали меня, заслонив от преследователей. Многие годы я старался вспомнить шум этих деревьев, старался вызвать его в памяти. Ибо деревья эпохи моей зрелости уже разучились шуметь, забыли ту волнующую, торжественную по своей тональности мелодию, устремленную ввысь.

— Отсюда вы уже куда угодно попадете. Внизу станция, там, где мигают огоньки, город. Я больше вам не понадоблюсь.

— Погоди, Витек. — Незнакомец вдруг вклю-

чил фонарик. Витек невольно заслонил глаза рукой. — Опусти руку. Я хочу тебя разглядеть. Ты красивый парень. Да, был парень что надо, — добавил меланхолически незнакомец.

— Вы знаете что-то, чего я не знаю, — произнес сиплым голосом Витек.

— Видишь вон те дубы, окруженные березками? Знаешь, что там случилось?

Витек с трудом проглотил слюну.

— Не знаю. Откуда мне знать?

— Знаешь, да не хочешь сказать. Видишь дуб с искривленными ветвями?

— Не вижу, темно же.

Незнакомец хотел направить в ту сторону луч фонарика, но ему словно не хватило смелости. Щелкнул выключателем, и фонарик погас.

— На этом дубе повесился отец, — сказал тихо. Витек помолчал. Наконец спросил чуть дрожащим голосом:

— Чей отец?

— Твой. Ведь с тех пор ты не ходишь тут в костел, хотя здесь ближе, избегаешь этой тропинки, этого великолепного уголка леса, куда летом по воскресеньям горожане съезжаются на пикники.

Витек снова ощутил пронизывающий холод. Содрогнулся до хруста в суставах.

— Может, вы знаете, почему отец это сделал? Думаю столько лет и не могу понять.

— Кто-то растратил деньги, за которые отвечал отец. Так поступали тогда порядочные люди.

— А откуда вы и это знаете?

— Мать рассказала много лет спустя. Впрочем, всей правды никто не знает. Даже я. Просто однажды дети нашли его висящим на ветке дуба, лицо огорченное. Этого огорчения, вернее, тоски не стерла гримаса удушья, не смазала смерть.

Шли долгое время молча, спотыкаясь о невидимые в темноте корни деревьев. Тропа напоминала высохшее русло ручья. Какая-то птица пролетела над ними, отчаянно хлопая крыльями. Дорожка взбиралась теперь на невысокий холм, у подножия которого брала начало уже ничем не заслоненная долина с железнодорожным полотном, как след от кнута на лошадиной спине, с каньоном реки, с противоположным склоном, посветлевшим поверху от последних лучей минувшего дня.

Незнакомец принялся нащупывать ступней стертый бруствер окопа Первой мировой войны. Потом наклонился, что-то поискал рукой во влажном сумраке.

— Здесь полно земляники. Уже есть бутоны.

Через пару недель зацветет.

— А вы кто? — вдруг спросил Витек.

Незнакомец выпрямился, посмотрел на долину, где искрилась горстка бледно-зеленых огоньков.

— Я вернусь сюда после смерти, — произнес он как бы про себя. — Ветром, что летает по крышам, тенью в солнечный полдень, скрипом колес в песчаной колее. У тебя впереди долгий путь, у меня, пожалуй, уже короткий. Прощай, Витек.

И незнакомец почти бегом ринулся вниз, не к тропе, а наискосок к железнодорожному полотну, ближе к городу, засыпавшему в колыбели между холмами. Вместе с ним затихал голос далекого радио, а может, попросту подала голос где-то в ночи настоящая кукушка.

* * *

Она хочет найти мужа за границей. Тридцатичетырехлетняя душевнобольная Лидия Каршун – частая посетительница зарубежных представительств, посольств и консульств в Варшаве. Постоянно проживая у родных в Вильно, она несколько раз в год приезжает в Варшаву для устройства своих «дел». Деньги на поездку раздобывает посредством ни-

щенства. Оказавшись в Варшаве, Каршун обходит иностранные дипломатические учреждения, требуя, чтобы ее отправили за границу. Она утверждает, что не может найти себе мужа в Польше, но, несомненно, найдет его в какой-нибудь другой стране. Вчера Каршун явилась в очередное посольство. Когда к ней отнеслись так, как она того заслуживала, начала скандалить. Был вызван полицейский, который препроводил больную в участок. Каршун будет принудительно отправлена в Вильно.

* * *

Витек остановился в раздумье у своего дома, похожего в темноте на огромного птеродактиля. В окнах сестер Путято мерцал манящий свет, приправленный дребезжащим завыванием патефона. Витек круто повернулся, толкнул калитку на ременных петлях, нашел на ощупь дверь в сени.

За столом, застланным вязаной скатертью, сидели сестры-близнецы, пан Хенрик, который приезжал к ним на мотоцикле из Вильно, и Энгель, то есть Энгельбарт. Посреди стола красо-

валась изрядно опорожненная бутылка.

— Извините, что так поздно, я ищу Энгеля, — сказал Витек, щуря глаза.

— Это я тебя ищу. Целый вечер. Был у реки, у костела, на станции. — Небесно-голубые, прозрачные глаза Энгеля поблескивали.

— Я встретил странного человека. Пришлось показать ему дорогу.

— Может, это Володко? — спросил пан Хенрик, о котором все говорили, что он техник. Обнимая сестер за талии, он курил папиросу с длинным мундштуком.

— О нет. Он походил скорее на чокнутого, чем на разбойника.

— Почему-то мне кажется, что Витек ходит в офицерский поселок, — сказала Цецилия, подняв слезящиеся глаза на желтый абажур с бахромой. — Кому вы туда показываете дорогу?

— Я? В офицерский поселок? А чего ради мне туда ходить? — спросил неуверенно Витек.

— Вот именно, — вставила Олимпия. — Любопытно, что туда Витека тянет?

Цецилия украдкой зевнула, прикрывая рот кулачком.

— Потеряем самого красивого кавалера, как пить дать.

— Который это будет по счету? — осведомилась Олимпия.

— Ах, даже говорить не хочется.

Пан Хенрик отпустил талии сестер и потянулся за бутылкой.

— А я? — спросил он угрюмо.

— Что вы? — удивилась Цецилия.

— Я не самый красивый?

Пластинка доиграла до конца. Цецилия подошла к патефону, принялась заводить с натугой, словно вытаскивала из колодца тяжелое ведро.

— К чему вам красота, у вас достоинства получше.

— Какие?

— Ну, все, — замялась Цецилия, прерывая работу. — Ум, сердце, солидность.

— А я предпочитаю быть самым красивым, — заупрямился пан Хенрик. — Чем вас, черт возьми, очаровал этот сопляк?

Олимпия опустила на руки отяжелевшую голову. Присмотрелась к гостю, прищурив глаза.

— Этого вы не добьетесь ни деньгами, ни заслугами.

Пан Хенрик потянулся к заднему карману брюк.

— Меня здесь оскорбляют.

— Никто вас не оскорбляет.

— А я говорю, оскорбляют.

Он выхватил из-за спины крошечный вороненый браунинг. Глянул на него с демонстративной внимательностью и положил на стол.

— Спрячьте это, — сонно произнесла Олимпия.

Пану Хенрику тоже захотелось спать. Он сдержал зевок с таким усилием, что побелели широкие скулы.

— А вот не спрячу.

— Уже поздно, господа, который час? — Цецилия, так и не накрутив пружины, закрыла крышку патефона. — Вы не доберетесь до города, пан Хенрик.

— А вот и доберусь.

— Дорога скверная, весенняя, еще мотоцикл опрокинется.

— А вот и не опрокинется.

— К чему упрямиться, милый, к чему стращать людей? — Цецилия подошла к столу, осторожно погладила гостя по взмокшей голове.

— А вот и буду стращать.

И не выдержал. Зевнул с утробным стоном то ли облегчения, то ли наслаждения.

— Ну ладно, ладно уж, — шепнула Цецилия, бесстрашно взяла маленький пистолет и с трудом

запихнула в задний карман пана Хенрика.

— Минуточку, извиняюсь, как вы смеете?

— Ну ладно, котик, ладно уж.

— А вот и не ладно, — возразил пан Хенрик и снова зевнул, да так, что хрустнуло в пасти. Сверкнул ряд великолепных золотых зубов.

Энгель подмигнул Витеку поразительно голубым, хоть и слегка затуманенным глазом. Они вышли на цыпочках.

— Я весь вечер искал тебя.

— Чего надо?

— Грета заболела.

— Грета заболела?

— Ты должен посмотреть, что с ней.

— Надо пригласить врача.

— Где теперь найдешь врача. У нее высокая температура.

— Ведь я ничего не умею.

— Ты не умеешь? Целыми днями сидишь за медицинскими книгами.

— Ей-богу, не смогу. Спятил, что ли?

— А кто Левку вылечил?

— У Левки был обыкновенный запор.

— Значит, не хочешь помочь?

— Хочу, но еще не умею.

— Лень осмотреть?

— Осмотреть могу, только это мало что даст.

Товарный состав тяжело волокся в сторону города. Тучи блеклых искр быстро гасли над трубой локомотива, напоминающей огромную воронку. Они шагали по грязной улице мимо старых садов. Снова откуда-то взялся дождичек, мелкий, похожий на туман.

— Весь вечер разыскиваю тебя.

— Я действительно встретил человека, который походил на приезжего из каких-то дальних краев.

— Я чувствую, ты нас предаешь.

— С какой стати мне вас предавать?

— Помнишь, как мы поклялись друг другу на берегу, что никогда в жизни не расстанемся? Ты, Лева и я. Ты клялся?

— Клялся. Конечно, всегда будем вместе.

Они прошли старым запущенным садом по высокой мокрой траве. Дом в стиле сецессион, с окнами как в костеле, напоминал помятый белый короб. Поднялись по винтовой лестнице, гулкой, словно цементированный колодец.

Отец Энгеля, старый немецкий пастор с серебряным венчиком волос вокруг лысины, поднял от молитвенника мутные, близорукие глаза. Он сидел под низко опущенной лампой на длинных

проводах с гирями для противовеса.

– *Guten Abend, Herr Baum,* добрый вечер, господин Баум, — сказал Витек.

– *Guten Abend, meine Kinder,* добрый вечер, дети мои.

— Это Витек, ты помнишь его, отец? — неприязненно спросил Энгель.

– *Ja, Wyczo, Wyczo, doch kenne ich gut.* Да, Вычо, Вычо, я же хорошо знаю, — с готовностью подтвердил пастор и вытаращил огромные, выпуклые глаза, хотя видно было, что никого он не узнает, погруженный в Священное Писание.

— Пусть читает, фриц проклятый, — махнул рукой Энгель.

Вошли в комнату, соседствующую с кухней. Здесь было темно. По оконному стеклу, рябоватому от дождевых капель, скользил отсвет далекого уличного фонаря.

— Спишь, Грета? — шепотом спросил Энгель. Никто не ответил, поэтому он нащупал наконец у двери выключатель, повернул его, и под потолком зажглась стеклянная люстра в виде букета ландышей.

В опрятной девичьей кровати лежала Грета под клетчатой периной. Лежала лицом к стене, виднелась только ее спина во фланелевой ноч-

ной рубашке, пестрой от зайчиков и барашков. Энгель тронул сестру за плечо. Она повернула к ним заспанное лицо земляничного окраса, в копне белых, почти бесцветных волос. Прикрыла глаза, золотистые от яркого света.

— Пришел Витек тебя обследовать, — строго произнес Энгель.

— Ничего со мной не делается. Наверняка до завтра пройдет. Большое спасибо, я напилась лечебного отвара из трав.

— Ты выглядишь как разваренная морковка. Ну, давай садись.

Энгель грубо поднял сестру, она заслонилась скрещенными руками, Витек подошел и коснулся ладонью ее багрового лба. Девушка едва заметно вздрогнула.

— Ну что? — поинтересовался Энгель.

— Принеси часы с секундной стрелкой.

Энгель вышел на кухню, загремел посудой. Пастор что-то жалобно пробормотал по-немецки.

— Заткни пасть, пруссак мекленбургский. За столько лет не научился говорить по-человечески. Чей ты ешь хлеб, старый экспансионист? — отчитывал его беззлобно сын.

Грета замерла на постели, съежившись, словно

замерзшая птица. Боялась глянуть в сторону Витека. Он видел перед собой ее худую спину, замершую в ожидании.

— Неохота идти завтра в школу? — шепнул он заговорщически.

Вместо ответа она принялась щипать уголок клетчатой перины, огромной, как надгробная плита.

Вернулся Энгель с карманными часами отца.

— Дай руку, — сказал Витек девушке.

Ока протянула ему хрупкую белую руку, чуть подернутую холодной испариной. Он нащупал пульс на запястье. Она снова ненароком вздрогнула. Витек поднес луковицу часов к глазам. Между римскими цифрами, в нижней части циферблата, неторопливо крутилась секундная стрелка.

— У нее нет температуры, — сказал Витек и отпустил ее руку, которая упала на постель, как крылышко белой птицы.

— Не может быть. Под вечер полыхала, как печка. Сама же просила тебя позвать.

— Я вовсе не просила, — тихо запротестовала Грета, вглядываясь в рисунок перины.

— Видишь, врет. На сердце жаловалась. Якобы что-то там булькает, как в наклоненной бутылке.

Давай подымай рубашку, немецкое отродье.

— Не подыму, — возразила Грета с тихим упрямством.

— Ишь ты, берлинские церемонии. — Брат схватил ее за шею и принялся задирать рубашку, разукрашенную зайчиками и барашками.

— Я не хочу, пусти, пусти!

– *Maul halten!* Молчать! Он остукает тебе спину, чокнутая! Спину показать стыдишься?

Грета прижала к груди скомканную рубашку и беспомощно зарыдала, сломленная немецким приказом.

— Ну, обследуй, — сказал Энгель. На его открытом, как у отца, челе выступила капля пота. Невысокий, коренастый, настоящий баварец, он стоял у постели и держал сестру за шею.

Витек увидал ее спину, светлую, как весенний лед из глубокой проруби, увидал еще более светлые желваки позвонков, увидал боязливо выглянувший из-под мышки овал груди.

— Ну и что? — шепнул самому себе. — Ну и ничего. Все это чужое.

Наклонился, прижал ухо к ребрам под правой лопаткой. Грета резко дрогнула, а потом задрожала легонько, почти незаметно, как оконное стекло в предчувствии приближения поезда.

— Ничего не слышу. Пожалуй, все в порядке.

Грета упала на постель вниз лицом с небрежно одернутой рубашкой.

— Все в порядке? — удостоверился Энгель.

— Похоже на это.

Витек погладил Грету по влажной щеке. На какую-то долю секунды она прижала плечом его ладонь к своему лицу.

— Значит, она здорова? — снова спросил Энгель.

— Ты же прекрасно знаешь, — шепнула Грета из-под стены.

— Так почему же ты хотела, чтобы пришел врач?

— Я не хотела. Ты хотел.

— Ну, знаешь ли, фантазии у тебя.

Грета вдруг резко привстала и принялась дубасить кулаками по перине.

— Идиот, дурак последний, хам!

Она заплакала в голос, всплескивала руками, пытаясь сдержать рыдания.

— Ну и ну, — протянул сбитый с толку Энгель. — Вот так фокусы.

— Никаких фокусов, сам ты жуткий немецкий скот! — кричала она, заливаясь слезами.

— Какая наглость! Она смеет называть меня

немцем. По достижении совершеннолетия непременно сменю это проклятое имя и эту идиотскую фамилию.

— Пусть поспит, завтра будет здорова, — сказал Витек. — Ведь она же могла плохо себя почувствовать, а теперь все прошло, и завтра будет полный порядок.

— Нет, чтобы такая валькирия обзывала меня немцем! Неслыханно. Взгляни, какие у меня скулы. Типичный монгол, верно?

Трясущейся рукой он погасил свет, друзья вернулись на кухню, на прощанье Энгель хлопнул дверью. Пастор поднял голову от книги, рассеянно заморгал. Очки без оправы жадно ловили отсвет кухонной лампы.

– *Was ist denn los, mein Sohn?* Что случилось, сын мой? — робко осведомился он.

— Говно святого отца.

– *Was ist das Kufno?* Что такое куфно?

Энгель мрачно погляделся в облезлое зеркало, висевшее между немецкими ковриками.

— У меня к вам одна-единственная просьба — зовите меня Владек, — проговорил он с яростью. — А фамилия у меня будет Древновский. Владислав Древновский, ясно?

В кухонной плите попискивал угасающий

огонь.

— Когда ваша матушка вернется из Германии? — тихо спросил Витек.

— Она никогда не вернется. Идем, я провожу тебя до калитки.

Они сошли вниз по железным ступеням. Дождя уже не было. Студеный ветер метался по сникшему саду. Сквозь тьму неба пробивались и тут же гасли невнятные звезды.

— Знаешь что, Витек, знаешь?

— Нет, не знаю.

— Тебе-то хорошо.

— Мне хорошо?

— Да, тебе хорошо, — выпалил Энгель и обхватил его поперек туловища, словно собирался оторвать от земли.

— Ты спятил, Энгель?

— Не Энгель, Владек.

С минуту они повозились, резким движением Витек вырвался из рук друга, и тот побежал к дому.

— Владек, что ты хотел сказать? — воскликнул Витек. — Что все это значит?

— Да пошел ты к черту!

— Погоди, в чем дело?

— Ты ничего не понимаешь!

Загремели железные ступени, как старая цистерна. Где-то в садах подала голос разбуженная собака. Попробовала завыть, но не смогла, видимо не найдя луны на небе, только несколько раз тявкнула без особого рвения. Низко, почти задевая за верхушки деревьев, пролетела птица. И воцарилась пронзительная, жуткая ночная тишина, какая бывала в прежние времена.

* * *

— Что случилось? — спросила мать. — Где ты пропадал целый день?

И смешала пасьянсные карты на столе.

— Да как-то так получилось. Немножко позанимался.

Мать отложила очки, медленно подошла к сыну. Запахло ванилью или, может, имбирем. Она повернула его лицом к лампочке. С минуту рассматривала мокрые волосы, глаза, обветренные губы. Витек попытался освободиться из ее рук. Боялся, что она догадается о том, что он делал вечером.

— Я знаю, что у тебя есть девушка, признайся!

— Откуда ты взяла, мама? Скажешь тоже.

— Я раскладывала пасьянс и погадала. Вокруг тебя плохие карты. Какое-то несчастье и дальний

путь. Витек, все до гроша, до злотого, идет на тебя. Ты должен стать знаменитым врачом, увидеть весь свет. Витек, Господь дал тебе красоту, разум, и ты не потратишь этого впустую, правда, сынок? — Мать прижалась головой к его груди.

— Стоило мне однажды вернуться домой поздно, и сразу же разыгралась целая трагедия.

— Нет, дело не в этом. Чувствую, что-то неладное с тобой творится. Скажи, сынок, может, ты влюбился?

— Я — влюбился? Мама, мама, да я, наверное, никогда не влюблюсь.

В соседней комнате жалобно скрипнула кровать. Дед демонстративно разразился кашлем. Витек тихо вошел в боковушку.

— Вы все говорите и говорите, а я ничего не знаю, никто со мной не делится, и никому я не нужен.

— Мы ложимся спать, дедушка. Желали друг другу спокойной ночи.

— А когда я наконец усну? Господи, какие длинные теперь ночи. Подойди сюда, малыш, проверь, здесь ли свеча и лежат ли спички.

Витек приблизился к изголовью и ощутил горячий смрад умирающего тела. Нащупал на стуле свечу, обросшую стеариновыми натеками,

и сплющенный коробок.

— Все на месте. Не бойтесь, дедушка. Ведь мы спим рядом.

— Снова хотел сегодня дополнить, но мама твоя не разрешила.

— Что дополнить?

— Ну, последнюю исповедь, вспомнил еще один давнишний грех.

— Вы уже целый год исповедуетесь, дедушка.

— Едва ксендз выйдет, мне припоминается какой-нибудь страшный грех. Не могу же я умереть с ним на совести?

— А я столько лет после смерти отца боялся темноты.

— Темноты боялся или людей?

— Собственно, ни темноты, ни людей, а того, что есмь, что существую со своими мыслями, а все вокруг ушли в сны, в какое-то неведомое измерение, отдалились, оставили меня одного и неизвестно когда вернутся. Я молился тогда вслух, слезно просил, чтобы приехал дедушка, так как дедушка всегда плохо спит и дедушкин кашель поддерживал во мне волю к жизни, создавал ощущение защищенности, утешал и успокаивал.

— А это начинался, развивался мой недуг. Боже всемогущий, мне припоминаются все грехи моей

жизни, и их все больше и больше.

— Может, они давно отпущены?

— Нет, совсем новые, свежайшие. Лучше бы не думать, да как тут не думать, когда смерть ходит по дому, стонет, вздыхает, маячит в зеркале, невзначай склонится надо мной, снова отступит на шаг-два и ждет, ждет, а меня в это время бес вводит во искушение пожить хотя бы еще день, хотя бы одно утро, пусть хмурое, ненастное, промозглое, лишь бы оно наступило.

— Спите, дедушка. А если не спится, подумайте о самых светлых минутах своей жизни.

— А я уже не знаю, какие были светлые, а какие темные.

Потом Витек раздевался на ощупь на своей кровати. В матрасе хищно хрустела солома. В окне дрожал отблеск далекого зарева. И тут кто-то вскочил на одеяло и сипло замурлыкал. Был это огромный голенастый кот.

— Это ты, Магараджа? — шепотом спросил Витек и погладил тощую спину, всю в зарубцевавшихся ранах и проплешинах на потрепанной в боях шкуре. — Что с тобой творилось столько дней? За какими кошками ты гонялся целый месяц?

Магараджа бесцеремонно влез ему на грудь,

устроился поудобнее, аккуратно подложил лапки под свою костистую шею. Витек чувствовал, что кот не сводит с него глаз, цветом напоминавших о далеких, неведомых планетах.

— Мудрый, многоопытный котище, ведь ты все про меня знаешь. Скажи, что со мной творится и чем это кончится? Не тебя ли задавил поезд у самой станции, а может, это ты искал сегодня каменную гимназию и обещал вернуться сюда после смерти? Скажи теперь или лучше потом, когда усну, скажи, что меня ждет, скажи, почему я дрожу сейчас не от холода, не от страха, не от сочувствия к людям, я дрожу в ожидании надежды на завтрашний день, на то, чего хочу и чего не хочу, чего жажду и не жажду, о чем мечтаю и о чем не мечтаю.

* * *

В те времена всем мальчишкам снились самолеты. Никто никогда не видывал самолета вблизи, никто никогда не касался рукой его кабины, стабилизаторов или деревянного пропеллера, никто не видал приземляющейся машины, которая неуклюже катится по траве аэродрома. О самолетах или аэропланах читали в захватывающих приключенческих книжках или

молодежных изданиях, иногда видели их в кино, однако кинокартины были тогда прекрасной ложью, чудесным вымыслом, и поэтому никто им не верил.

И все-таки дважды в неделю над предместьем пролетал всамделишный аэроплан. Медленно и чинно следовал он с севера на юг, то есть со стороны города к Пушкарне, притаившейся среди зарослей густого ольшаника в излучине Виленки. В дни пасмурные аэроплан бывал темен, словно ястреб, в дни солнечные напоминал крылатую сверкающую миногу. В дни ненастные он походил на крест, который благословляет орошенную дождем землю, в дни погожие отражал солнце серебристыми бортами, как падающее с неба зеркало. Но этот аэроплан летел очень высоко, и отдаленность делала его нереальным, он казался всем скорее частицей космоса, нежели земли.

Поэтому мальчишкам часто снились по ночам самолеты. Снились летящими низко, над самой землей, прямо между домами, и снились как гигантские, устрашающие существа, которые внушают удушливый страх, панический ужас. А порой снилось км, что самолет неведомо почему упал в дни каникул на песчаный пляж на Вилии и лежит, зарывшись носом в гальку, неподалеку

от непролазных зарослей орешника, малины, крушины, боярышника, собачьей петрушки, любистока, дикого укропа, болотной жимолости, неподалеку от буйной зелени, обалдевшей от летней исступленности. И что лежит он вот так на золотисто-сером песке, облитый густым светом послеполуденного солнца, а рядом между бревнами причаленных на ночь плотов журчит Вилия. И что, лежа вот так, аэроплан напоминает вроде бы лодку с круглыми окошечками по бортам, что он, собственно, невелик, и непонятно, как в нем помещаются пассажиры. Ибо, такой доступный во сне, самолет как бы защищал свою тайну, как бы наказывал за святотатственное любопытство. Поэтому в начале сна он появлялся во всей своей монументальности и овеянный величием таинственности, недоступный, навсегда связанный с небом, облаками и молниями. Но когда силы, что повелевают снами, разрешали ему упасть, он оборачивался для почивающих невзрачным, вызывающим досадное разочарование обманщиком. И эта его невзрачность, коварная способность уменьшаться в размерах, которая в любую минуту могла обернуться непостижимым увеличением, возбуждала сладостную, волнующую тоску по разгадке тайны,

куда более значительной и интригующей, нежели тайна самого аэроплана.

Поэтому наяву мальчишки осуществляли свою неосознанную тоску по дальним далям, по неизвестности и непостижимости, по вожделенному привету из иных миров, сооружая собственные самолеты наперекор повседневности, в эпицентре будничной серости. И чаще всего этим аппаратом, переносящим человека с земли на небо, была черемуха, раскидистое дерево с ветвями, удобными, как кресло авиаторов, с пропеллерами усохших сучьев, дерево, прилепившееся к крутому склону, словно к грозовой туче. Теплый ветер исторгал из леса странные и тревожащие звуки горних сфер, уподобляясь далеким и бесконечным космическим бурям, он имитировал патетический голос вращающихся планет и мирозданий. А шаткое дерево подымало пилотов и штурманов над осыпанными белым пухом лугами, над сверкающей в лучах солнца Виленкой, над обрывами, все выше в голубые просветы между громоздящимися облаками. А приторный и ядовитый аромат цветущей черемухи успокаивал не хуже наркотика щемящую тоску.

Позднее самолеты вошли в повседневную

жизнь людей, как обыкновенные, заурядные животные. Стали работать вместе с человеком, стали переносить его с места на место, таскать тяжести, убивать его ближних. И тогда они перестали сниться так, как грезились мальчишкам в те далекие времена.

* * *

Витек шел по щебенке аллеи, которая, словно пружина, опоясывала Замковую гору. Шел легко, не торопясь, подставляя лицо лучам солнца, прочно засевшего посреди белесого неба. Посматривал по сторонам и назад и видел скопище разномастных крыш, подобных хребтам зверей, прятавших головы в каньоны узких улиц. Деревья уже стояли в облачках проклевывающейся листвы.

Витек миновал высокий крест в честь повстанцев 1863 года, хотел даже подойти, чтобы прочесть надпись на мемориальной доске, но раздумал, решил сделать это на обратном пути, если не осуществит задуманного. Откуда-то прилетела веселая желтая лимонница, Витек замахал фуражкой, но бабочка побилась с минуту о подкладку и полетела дальше меж стебельков первых травинок, тянувшихся к солнцу.

Потом Витек сел на старую лавку, позеленевшую от засохшей плесени. Сел так, чтобы удобнее было видеть Лукисскую площадь, где за двойной шеренгой каштанов стояло здание женской гимназии, и одновременно держать в поле зрения оба предместья, Нижнее и Верхнее, теснимые лесами, что обрушивались на них с крутобоких холмов.

Сначала Витек нацелился на желтоватое здание гимназии. Впился взглядом в темные провалы окон и зашептал, как молитву:

— Слушай меня, подчиняйся моим приказам. Я зловредный, себялюбивый, чертовски холодный субъект. Если уж я решился на такое деяние, ты должна немедленно выполнить мои требования.

Но тут в конце аллеи показался старичок в широкополой велюровой шляпе и демисезонном пальто с порыжевшим бархатным воротником. Витеку пришлось прервать заклятие. Он терпеливо подождал, пока пенсионер пройдет. Между тем старик основательно канителился, вытащил платок, долго трубил простуженным носом, потом, вздыхая, любовался городом с высоты птичьего полета. Наконец побрел вверх, где рдела башня Гедимина.

— Слушай, — продолжал Витек прерванный се-

анс гипноза, — сейчас же встань и приди сюда ко мне. Я специально ради тебя прогуливаю сегодня. Пропускаю важные уроки, подрываю свою репутацию, может, даже рискую быть исключенным из гимназии. Считаю до десяти. В течение десяти секунд ты должна возникнуть из-за деревьев.

И начал считать. Сперва нормально, потом все медленнее. Однако никто не возникал. Когда он наконец принялся отсчитывать половинки и даже четвертушки секунды, из-за деревьев, скрывавших поворот аллеи, вышла молодая женщина с детской коляской. Витек помогал ей, взглядом подталкивал попискивающий экипаж, однако тщетно. Молодая мать уселась на другом конце его лавки и занялась пеленками.

Витек в отчаянии перевел взгляд туда, где, как он знал, у блеклого горизонта располагались сады офицерского поселка и вилла на краю оврага, размытого иссякшим потоком. Теперь он заклинал почти беззвучно, чтобы молодая женщина не расслышала внушений.

— Последний раз приказываю прийти ко мне. Если не придешь, будешь жалеть всю жизнь. Никогда на тебя не посмотрю, словом не обмолвлюсь. Никогда не приду вечером, не буду подглядывать за тобой. А если придешь, причем

немедленно, заключу тебя в объятия…

Снова пришлось прерваться. Женщина встала, сунула голову под балдахин коляски, защебетала и энергично двинулась вверх по аллее. Витек проводил ее неприязненным взглядом до поворота.

— Заклинаю тебя последний раз, — произнес он уже вслух. — Ты должна подчиниться моему могуществу. Я никого никогда ни о чем не просил. Впервые в жизни умоляю тебя. Хотя, собственно, не умоляю, а приказываю. Я жду тебя, и ты должна сию минуту предстать передо мной.

Две собаки, огрызаясь друг на друга, промчались по краю аллеи, по краю пропасти, на дне которой лежал город. Где-то в недрах каменных джунглей подала голос фабричная сирена. Она постепенно набирала силу и уже неслась над городом, как вопль отчаяния.

— Ну хорошо, — вздохнул Витек. — Пожалуйста. Могу не приказывать. Будь по-твоему. Умоляю изо всех сил, всем своим могуществом, молю: подчинись мне и приди. А если не придешь, прокляну, тогда пожалеешь.

— Добрый день, — вдруг раздалось у него за спиной.

Ошеломленный, Витек вскочил с лавки и увидал се, улыбающуюся, порозовевшую от быстрой

ходьбы в гору. Она была в синей форменной курточке и синем берете, украшенном никелированным значком с раскрытой книгой и светильником разума. Из-под этого берета низвергался целый водопад пепельно-серебристых волос.

— Добрый день, — повторила она, так как он продолжал глуповато моргать. — Вы велели мне прийти, и вот я явилась.

— Я ничего не велел, — простонал Витек.

— Как же, ведь я явственно ощущала флюиды. И мне пришлось прогулять уроки, хотя сегодня у нас очень важные предэкзаменационные контрольные.

— Я, право, не хотел… — Витек залился краской. — Это какое-то недоразумение.

— Знаю, что не хотели. Я просто принесла книгу.

Алина присела на лавку, открыла портфель.

— Какую книгу?

Девушка достала его учебник со следами засохшей грязи, а может, и зубов странного пса Рекса.

— Учебник по химии. Узнаете?

— Нет. Пожалуй, не очень. Право, не знаю, — заикался он, присаживаясь на ощупь.

— На титульном листе ваша подпись.

— Возможно. Не помню. — Витек выхватил у нее из рук книгу и спрятал под форменную курточку, чтобы прервать неприятный разговор. — Весьма благодарен за то, что побеспокоились.

— А мне казалось, что вы меня ждете. Даю слово. И даже, пожалуй, видела вас нынешней ночью во сне, точно уже не помню как, но наверняка видела.

— Это какая-то ошибка, — начал Витек.

— Вы уже говорили об ошибке. Я, между прочим, идеальный медиум. Ей-ей, не бывает дыма без огня. Как по-вашему?

— Я плохо себя чувствовал и отпросился с двух последних уроков.

— Так почему же я очутилась на Замковой горе? Раньше я никогда сюда не ходила.

— Я, собственно, тоже не хожу.

— Сами видите, что это все-таки странно.

— Да, странно.

Девушка вытянула ноги в шелковых чулках, носить которые строго запрещалось в средних учебных заведениях.

— Можно мне посидеть минуточку с вами, уж очень запарилась?

— Разумеется, с удовольствием, — проговорил Витек, не глядя в ее сторону.

— Так вы действительно не замечали меня полтора года?

— Я очень загружен, страшно много работаю, собираюсь изучать медицину.

— Вот как, мой отец тоже врач.

— А что изучает кузен? — спросил Витек и затаил дыхание. Не глядя на Алину, он чувствовал, что девушка к нему внимательно присматривается.

— Юриспруденцию, — ответила она наконец. — Изучал, а теперь прервал занятия.

— Прервал занятия?

— Романтическая трагедия. Любовная.

Стайка воробьев спикировала на дорожку. Разгорелась потасовка из-за остатков хлеба, раскрошенного детьми.

— Ведь я эгоцентрик, люблю только себя, — зашептал Витек.

— Слушаю вас?

— Ничего, ничего, — закашлялся он.

— Не верьте мне. Я вовсе не ощущала никаких флюидов. Попросту сбежала с уроков. Часто это делаю. А учебник взяла с собой на всякий случай. Если бы встретила вас в поезде.

Витек замер. Над северным краем горизонта теснились облака, словно корабли, бросившие якорь на рейде.

— Жалко, — тихо произнес Витек.

— Конечно, жалко. Ведь вы мне очень нравились.

— Я нравился?

— Да, но это было давно. В самом начале. Более года назад.

Витек осторожно покосился в ее сторону. Носком туфли она разбрасывала крупицы щебня. Витек увидал ее профиль, слегка прикрытый волосами, и не мог решить, красивый это профиль или так себе.

— Жалко, — повторил.

— Ах, не о чем жалеть. Я настоящее чудовище. Эгоистичное, самовлюбленное.

— Точь-в-точь как я.

— Не может быть…

— Даю слово.

— Любопытно. Мы бы наверняка замучили друг друга.

— К счастью, это уже в прошлом.

— Почему в прошлом?

— Вы сами сказали.

— Сказала, чтобы досадить.

— Правда?

— Разумеется. Досаждать — это моя специальность.

Неподалеку, на горе Трех крестов сновали солдаты. В тени огромных каменных крестов, вырастающих из общего постамента, стояли три пушки со стволами, нацеленными в небосвод. Белые кресты отражали ослепительное весеннее солнце, и поэтому могло показаться, что они горят прозрачным, незримым огнем.

— Где вы потеряли свою книжку? — вдруг спросила Алина.

Витек окаменел. Не глядя на нее, принялся выковыривать ярко-зеленый мох из сердец, вырезанных влюбленными на спинке скамьи.

— А где вы ее нашли?

— Нигде не нашла. Пес притащил утром, когда шла на станцию.

— Вчера я бродил вдоль железной дороги, в лесу, у реки.

— Странный лес, не правда ли? Там постоянно встречаются какие-то незнакомые люди, неведомо откуда туда попавшие.

— Да, странный лес. Я полагаю, что он тянется до Берингова моря, а может, до Аляски и еще дальше.

Девушка вдруг закашлялась, прикрывая рот снятым с головы беретом.

— Очень дует, может, спустимся в город? —

спросила она.

— Хорошо, спустимся, только бы нас не накрыл кто-нибудь из гимназии.

— Не накроет. Я везучая, — сказала Алина убежденно.

Они встали и неторопливо направились по гравию аллеи туда, где приглушенным голосом урчал внизу город.

— Хорошо быть везучим, — сказал Витек, украдкой прикидывая на глазок рост спутницы. С удовлетворением отметил, что он выше почти на голову.

— И хорошо и плохо.

— Почему плохо?

Ока взглянула на него снизу вверх с внезапной серьезностью.

— За это приходится расплачиваться.

— А как вы думаете расплачиваться?

Как? — Она поправила прядь волос, которая щекотала ей щеку. — Заплачу однажды, и дорогой ценой. Попросту смертью.

— Все хотят умереть молодыми. Теперь такая мода.

— Вы тоже?

— Вообще-то хочу, но не могу, надо еще уладить кое-какие дела.

Они шли по парку, называемому Телятником. Здесь сидело на скамьях множество народу. Кухарки с солдатами в увольнении, экскурсия школьников из провинции, пожилые дамы, несколько безработных, железнодорожник с сундучком и господин в черном, лицо которого Витеку показалось знакомым. Он оглянулся и смотрел на этот лик, обтянутый кожей, словно более благородный, нежели у обыкновенных людей. Когда господин вскинул голову, под шляпой как будто мелькнула фиолетовая полоска.

— Знаете, я подслушал, что люди говорят нам вслед.

— Ну, это любопытно, — произнесла Алина без всякого любопытства.

— Одна старушка сказала другой: взгляни, какая прекрасная пара.

— Это о нас?

— О нас.

— Все это не имеет смысла, — вздохнула девушка.

— Все имеет смысл. По крайней мере в данный момент, — возразил Витек и поспешно добавил: — Пока мы молоды.

— Вы видели человека, которого задавил поезд.

— Да, я как раз возвращался с пасхальных каникул.

— Как вы думаете, почему он бросился под поезд?

— Почему бросился? Может, просто попал?

Алина недоверчиво покачала головой. Ее брови тянулись к вискам изящными, трагическими штрихами. А в розоватом оттенке губ было что-то от цветущего вереска.

— Боже, как она хороша, — прошептал он про себя с непонятным ужасом. — К счастью, я холоден, расчетлив, начисто лишен сентиментальности.

— Вы снова сказали: я холоден, расчетлив.

Витек вздрогнул и остолбенел посреди тротуара.

— Помилуйте, ничего я не говорил. Просто подумал, что здесь, внизу, становится жарко.

— Я прочла это по движениям губ. Будьте при мне осторожнее.

— Хорошо, учту.

Они стояли в самом начале Замковой улицы со множеством маленьких дешевых киношек, в которых демонстрировались фильмы ужасов и научно-фантастические картины. В витринах за проволочной сеткой пугали прохожих фотогра-

фии, приколотые кнопками. Стайки еврейских ребятишек бегали наперегонки по проходным дворам, которые вели к университетскому кварталу.

— Я все-таки думаю, что он бросился под поезд, — вдруг сказала Алина.

Он молча смотрел на девушку, которая стояла, придерживая портфелем юбку, раздуваемую ветром.

— И возможно, сделал это без всякого повода. Вас никогда не привлекала смерть?

— Пожалуй, пару раз хотелось умереть. Только чтобы смерть пришла сама.

— Это не то. Совсем не то, — медленно проговорила она, глядя поверх его головы.

Витек оглянулся, чтобы узнать, что ее там заинтересовало, но позади него была только стена старого дома с облупленной штукатуркой.

— Ну хорошо, — проговорила она совсем другим голосом. — Может, угостимся мороженым?

Он растерянно ощупал пустой карман.

— Я не очень люблю мороженое.

— Надеюсь, не откажетесь за компанию? Я угощаю.

И Алина припустила бегом по улице Велькой, туда, где была кондитерская «Восточная». Витек

бросился вдогонку.

— Мне не надо, спасибо. Я ненавижу мороженое!

— Должны полюбить. У меня куча денег и короткая жизнь впереди.

— Умоляю, я не хочу мороженого!

Но было уже поздно. Алина вбежала в кондитерскую. Сверкнула отражением солнца и синих небес зеркальная дверь, отделанная то ли золотом, то ли бронзой. Витек остановился на краю тротуара, бездумно потирая вспотевшие руки.

— Завтра — конец, — обратился он к своему отражению в стекле витрины. — С завтрашнего дня только учеба, только медицина и холодный расчет. Я силен, у меня железная воля, мне надо сделать карьеру, я стану кем-нибудь, и притом незаурядным.

А она уже спешила назад, неся мороженое в золотистых вафлях.

— Вот видите, готово. Меня тут очень любят. А вы знаете, что меня люди очень любят?

— Извините, я не ем мороженого.

— Не валяйте дурака. Оно течет у меня по рукам.

— Ни за что на свете.

— Тогда я запущу в вас этим мороженым.

Она насильно всунула ему в опущенную руку шершавые вафли, по которым уже стекали восхитительно ароматные капли. Он неловко поднял руку, с глуповатым видом лизнул шарик, такой холодный, что заныли зубы.

Потом они стояли в тенистом уголке возле костела святого Казимежа. Толстые, изъеденные лишаями стены словно бы подрагивали, поглощая звуки органа. Побирушка, лежавший на паперти, бесстыдно заголялся, подставляя солнцу свое отталкивающее уродство.

Они торопливо уплетали мороженое, глядя друг другу в глаза.

— Вот видите, пожалуй, жизнь все-таки не такая уж плохая вещь.

Алина оперлась спиной о стену, зажав в ногах портфель.

— Возможно, и не такая плохая. Я легко меняю мнения. Вы должны об этом помнить.

— Буду помнить. — Витек приблизился к ней на шаг.

Алина смотрела ему в глаза, не моргая. Медленно подняла руку и принялась ощипывать засохший побег дикого винограда на стене. Снова лизнула фисташковый шарик.

— О чем вы сейчас думаете, сударь?

— Разумеется, о вас.

— Зря.

Не успев самому себе помешать, Витек прикрыл ладонью ее руку, ту, что ощипывала сухой побег. Она прищурилась, словно от внезапной досады. Не торопясь, с каким-то недобрым упорством высвободила плененную руку.

— Извините, — произнес он сдавленным голосом.

— Не беда. Боже, как поздно. Мне надо возвращаться, а вам?

— Я вынужден остаться, но могу немного вас проводить.

Видно было, что она не вполне ему верит. Долетала носовой платок, тщательно вытерла пальцы, прямо-таки образцовая чистюля.

— Кажется, я сглупил, — мрачно заметил Витек, наверняка надеясь, что Алина возразит и со слезами кинется в его объятия.

— Не беда, — повторила она. — Бывает. Даже с теми, у кого ледяное сердце.

Пошли в сторону Острой Брамы. Какой-то извозчик неизвестно почему хлестал кнутом лошадь, стараясь попасть по ногам, чтобы было больнее. Витек молчал, она тоже безмятежно молчала. Проходили мимо людей, преклонявших колени

прямо на мостовой у стен храма. Вверху, над просветом арки, трепетало желто-багровое, как предвестник радуги, зарево от свечей, зажженных у образа Богородицы.

Витек замедлил шаг, она тоже. В застекленной лоджии слева пел невидимый хор. На карнизах дремали голуби.

— Ну так что? — остановился Витек.

— Вы хотите остаться?

— Не хочу, а должен.

— Тогда до свидания, — подала она тонкую руку. Витек приложился к ней с нарочитой сдержанностью.

— До свидания.

Алина повернулась и пошла к вокзалу. Витек долго не двигался с места. Ждал, что она оглянется, подаст какой-то знак. Ведь знала же, что он стоит на том месте, где они расстались, наверняка чувствовала спиной его взгляд. Все чаще ее заслоняли люди, вот она пропала в тени от свода, вот появилась на светлом пространстве за аркой. И ни разу не оглянулась.

— Проклятая корова, — вырвалось из пересохших уст Витека.

И тут он заметил, что с тротуара к нему внимательно присматривается чернявый мужчина,

небритый, с небольшими усами. В брезентовом плаще, из-под которого виднелись зеленые брюки армейского покроя и высокие сапоги.

Витек взглянул на него хмуро, а тот заговорщически улыбнулся и направился к нему, держа руки в странно оттопыренных карманах.

— Покорнейше прошу прощения, не бойтесь, — произнес он вкрадчиво басом. — Я уже некоторое время наблюдаю за вами, вернее, за вами и за девушкой и думаю — наверняка это благородные, хорошие люди. Да благословит их Господь. И дарует им лучшую судьбу. И пусть дарует им счастье, которое каждый день отнимает у других.

Он стоял перед Витеком, высокий, худощавый, настороженный, озирающийся по сторонам. И был как-то сумрачно красив, таких смуглых, угрюмых красавцев можно было часто встретить в старинных шляхетских гнездах здешней глубинки. И Витек вспомнил о пятидесятигрошевой монетке, спрятанной как талисман в нагрудном кармане гимназической куртки. Принялся искать ее, запустив два пальца в сатиновый «тайничок».

— Вы нуждаетесь в поддержке?

— Нет, благодарю, — улыбнулся мужчина, показывая зубы, белые-белые, отливающие голу-

бизной. — Я не нуждаюсь в деньгах. Мне нужна ваша помощь. Вам бы я мог довериться. Вам одному. Теперь-то я уж отличаю хорошего человека от плохого.

В часовне с иконой, осыпанной блестками, подобными серебряным звездам, появился ксендз в зеленом облачении. Загудели скрытые за стеной трубы органа, послышалось нестройное пение молящихся, которые преклоняли колени на мостовой среди ошметков конского навоза и на каменных плитах кособоких тротуаров.

— Чем я могу вам помочь?

— Я кое-что вам дам, маленькую посылочку, и попрошу отнести здесь неподалеку, на улицу Субоч, это в самом начале, дом семь, во дворе направо, первый этаж.

— А может, лучше поручить это какому-нибудь мальчишке?

Мужчина сверлил Витека глазами, черными, как мрак подземелья. Его заметно лихорадило. Он содрогался от озноба и всякий раз плотнее запахивал выгоревший брезентовый плащ.

— Это можете сделать только вы. Я тут подожду вас, и вы мне все расскажете.

— Но я тороплюсь домой.

— Вы никуда не торопитесь. И должны мне

помочь. Вам тоже когда-нибудь кто-нибудь очень поможет.

— Кому отдать посылку?

— Там будет молодая женщина. Вы ее сразу узнаете, поскольку никогда такой красавицы не видали.

Мужчина опустил глаза, заколебался, его снова затрясло.

— Ну, может, исключая вашу девушку. Она тоже очень красивая, прямо для вас создана, и вы с ней долгие годы будете счастливы, дай-то Господи. Извините, что разболтался, я давно с людьми не разговаривал. Преследует меня, уважаемый, горе-злосчастье, а позади сплошные обиды, отчаянье и грехи смертные. Идите же. Я тут подожду.

Он сунул Витеку узелок, сооруженный словно бы из головного платка.

— Идите, прошу вас, идите, — торопил он. — И никому ни слова.

Витек шествовал по святому остробрамскому ущелью сквозь жалобное, с подвыванием пение, в котором сливались разные наречья — и польское, и белорусское, и литовское. Слитые воедино общим отчаяньем, голоса взмывали высоко в небо, заполненное голубизной и стремительно скользящими безмолвными облаками.

Улицу Субоч оглашали немолчным грохотом фургоны воинских обозов. Собаки с яростным лаем бежали впереди лошадей. Витек отыскал подворотню дома, отмеченного седьмым номером. Вступил под низкий свод, и его охватил смрад мыльной пены, мочи и гниющего дерева. В руках он сжимал узелок. Сквозь темную ткань платка ощущалась тяжесть монет и упругость то ли скомканных банкнотов, то ли связки писем.

Витек постучал в дверь флигеля, на которой коряво было выведено мелом: «К + М + В 1939». Никто не отозвался. Постучал еще раз и потом нажал дверную ручку. Дверь подалась, он очутился в довольно просторном помещении, служившем одновременно кухней, гостиной и спальней. На плите что-то кипело, причем кипело давно — густые облака пара плавали под потолком. Возле стола болтал сам с собой ребенок, заточенный в манеж из ивняка. На кровати, застеленной полосатой накидкой, лежала женщина, закрыв руками голову. Над ложем висел коврик и красовалась огромная уланская сабля, основательно траченная ржавчиной. Витек подошел к кровати и тронул женщину за плечо. Та не пошевельнулась.

— Послушайте, — сказал он тихо.

Женщина заслоняла лицо обнаженной рукой. Сквозь бледную кожу просвечивала тоненькая светло-голубая жилка.

— Послушайте, — повторил. — Проснитесь.

— Чего? — пробормотала она хрипло, не отнимая руки.

— Я кое-что принес вам. Посылку.

Женщина тяжело вздохнула, подняла голову, и Витек увидал еще молодое лицо, может, когда-то красивое, но теперь красоту уничтожили усталость, апатия и бесстыдство. Почувствовал кислый запах перегара.

— Какую посылку?

Витек отдал узелок. Женщина взяла его, подбросила на ладони, словно взвешивая. Щеки ее были мокры то ли от слез, то ли от пота.

— Он передал? — спросила.

— Не знаю. Мне дал человек у Острой Брамы. Чернявый, с усами, в солдатских штанах.

Она поднесла узелок к глазам, начала развязывать. И вдруг швырнула его оземь. Брызнули монеты, зазвенела посуда, ребенок разревелся.

— Поди прочь с таким гостинцем! Чтоб его лихоманка спалила, чтоб он не дожил до завтрашнего дня, чтоб его черти жарили в аду вечные времена! Боже, Боже, — выла она, колотясь головой о край

деревянной кровати. — Погубил мою молодость, втоптал в грязь нас всех, живьем загнал в могилу. О Боже, Боже, за что такая кара, такие муки, такая медленная смерть? Будь проклята навеки моя дурость, безрассудство, слепота и эта безбожная любовь!

Витек на цыпочках отступал к дверям. Потянувшись к дверной ручке, споткнулся о валявшуюся табуретку. И тут женщина вдруг спросила хриплым шепотом:

— А как он выглядит?

— Не знаю. Пожалуй, хорошо.

— Велел что-нибудь сказать?

— Нет. Ничего. Просил только передать посылку. И его, похоже, лихорадило.

Женщина неуклюже поднялась с кровати. Тупо поглядела в окно, заполненное солнцем, вытерла тыльной стороной ладони глаза, пошатываясь подошла к плите. Без тряпок, голыми руками, принялась снимать раскаленный чан, пышущий паром.

Назад к Острой Браме Витек бежал. Богослужение уже окончилось, исчез ксендз в зеленом облачении, исчезли также служки, и затих орган. Перед чудотворной иконой Девы Марии, похожей на персидскую или левантийскую девушку,

мерцали огоньки свечек, как частицы человеческой памяти.

Витек остановился на мостовой, среди богомольцев, по-прежнему согбенных в смиренной молитве, застывших в исступленности экстаза. Чернявого нигде не было. Витек внимательно осматривался по сторонам, шнырял глазами по стенным нишам и подворотням, ощупывал взглядом спины коленопреклоненных, хотя уже предчувствовал, что человека этого не встретит.

Потом он стоял на открытой площадке допотопного вагона, наверное, помнившего царские времена. Ветер сталкивал его с помоста, трепал волосы, хлестал угольной пылью по глазам. Витек держался за ветхий бронзовый поручень и, прищурясь, смотрел на такие знакомые холмы и крутые обрывы, примелькавшиеся от ежедневных встреч деревья, кусты, дома и струны телеграфных проводов.

— Здесь он прячется, попался! — крикнул кто-то у него за спиной.

Лева стоял раскорякой на вибрирующем железном полу площадки. Из соседнего вагона уже пробиралась Грета, поддерживаемая Энгелем.

— Ей-Богу, Витек, конец света. — Лева перекрикивал дребезжащий грохот древних железяк. —

Прогулял? Признайся, что прогулял.

Витек смотрел на скуластое лицо Левы, обтянутое смуглой кожей в россыпи темных веснушек.

— Прогулял. А почему это тебя волнует?

Левку мотало из стороны в сторону в такт с раскачивающимся вагоном.

— Разумеется, волнует. Помнишь наше пари?

— Какое пари?

— Не прикидывайся дурачком. Железное пари.

— Неужели ты меня держишь за идиота?

— Так где ты был целый день?

— Где был, там уже меня не будет.

Грета встала рядом с Витеком. Хотела укрыться от сквозняка, который бомбардировал сажей, пучками сухой травы и прошлогодними листьями.

— Витек, она действительно больна, — зашептал в ухо Энгель. — Мы были на рентгене. У нее увеличенное сердце.

— Многие живут с увеличенным сердцем.

— Почему ты к ней так плохо относишься?

— Откуда ты взял, Энгель? Я к ней прекрасно отношусь.

— Помнишь, в детстве ты ударил ее кирпичом по голове. Доктору пришлось зашивать рану. У нее до сих пор шрам под волосами.

— Я этого не помню, Энгель. Может, и ударил, наверное, но не понимал, что делаю. Ведь теперь бы я ее не ударил.

— Да, ты прав. Ее нельзя обижать.

— А кто хочет ее обидеть?

Энгель умолк. Грета свободной рукой придерживала берет, по спине ее, как зверек, моталась прядь светлых, почти белых волос.

На мгновенье их оглушил душераздирающий свист паровоза.

— У-а-а-а! — выл Левка, высовываясь с платформы. Он висел над смазанной скоростью землей, похожей на прелое рядно. Подставлял лицо ветру и наслаждался его хлесткими пощечинами.

— Витек, — шепнула Грета, не оборачиваясь. — Слышишь меня?

Он обхватил ее рукой и склонил к ней голову. Она вздрогнула от его прикосновения.

— Слышу, — шепнул ей на ухо.

— Я хочу извиниться перед тобой.

— За что?

— За все.

— Право, тебе не за что извиняться.

— Ведь ты видишь во мне ребенка. А мне уже шестнадцать лет.

— Это прекрасный возраст.

— Энгель всегда и все делает в ущерб мне.

— Ах, Грета, ущерб этот, пожалуй, не так уж и велик.

— Для меня велик.

Витек слегка прижал ее к себе. Они пролетали переезд, за шлагбаумом лошадь вскинулась на дыбы, разрывая упряжь. Снова взвыл паровоз.

— Я все понимаю, Грета.

— Боюсь, ты ничего не понимаешь.

I

Я не из живописующих и не из живописуемых. Я – бог. Бог, чудовищно изуродованный братьями богами или катаклизмом, который обрушился на мир богов. Создали меня по образу и подобию человека и словно топором отрубили божественное сознание, понимание начал и концов, вырвали божественные глаза, и потому вижу я только маленькую планету да серовато-голубую пустоту вокруг нее, мне размозжили уши, и я внемлю лишь плачу нарождающихся и стенаньям умирающих случайных живых существ в этом захолустном уголке провинциальной галактики.

Не ведаю, один ли я оказался здесь, в этой хилой роще примитивного существования, и есть ли другие братья боги, наказанные или жертвы катаклизма, тоже блуждающие среди этих людей, не способные опознать друг друга и из сохранившихся обрывков воспоминаний воссоздавать картину прежнего бытия, припомнить обратную дорогу, изыскать способы спасения.

Если вы где-то скитаетесь, братья, в этой хилой роще примитивного существования, если погрязаете в мелкой трясине мнимых радостей и реальных биологических мук, если дремлете в зыбком чаду туманных надежд и мучительных кошмаров, если плутаете, утратив ощущение времени, то есть вечности, если бродите в уныло-переменчивых ипостасях этой наипростейшей из форм бытия, если это действительно так, то призываю вас ответить мне каким-нибудь знаком, глубоко укрытым, подобно ладанке у смертных, знаком нашей прежней и необезображенной, неизмельчавшей, неосмеянной божественности, и я опо-

знаю вас и объединю в союз попранной божественности, и мы поплывем на этой маленькой планете, как на спасительной лодке, в нашу утраченную отчизну богов.

II

Кто выдумал людей? Был ли это каприз наших загулявших братьев богов? Или наше ротозейство позволило им зародиться на пылинке, замельтешившей при мгновенной вспышке? Из частицы белка они с усилием выползли на порог, за которым, быть может, ничего для них нет и которого они уже никогда не переступят. Стали они на этом пороге обеими ногами в вертикальном положении и нарекли себя homo sapiens, человек разумный. Принялись искать воображаемое родство с нами, выдумали, что отличаются неким божественным началом от своих ближних, которые ползают по общей планете, бегают на четырех, шести и даже более ногах и не без труда возносятся над ее увядающей поверхностью. И, святотатственно облагородив себя этой своеобычностью, они еже-

дневно пожирают ближних своих, дабы продлить мгновение бытия, которое по чьему-то злокозненному капризу поставлено в зависимость от самопожирания.

Этот нелепый и, возможно, ничтожнейший вариант секундного присутствия в Непознаваемом мире, эта, пожалуй, уникальная версия, ограниченная строгими рамками рождения и смерти, то есть мнимого начала и мнимого конца, этот нелепый случай хотят возвысить, придавая ему сходство с судьбой богов, ибо кто-то опрометчиво выдал им наше существование. Если бы не тяжкая забота, которая меня постоянно гнетет, я бы смеялся от души, видя, как патетически объясняют люди свой вульгарный биологический цикл. Каким изысканным церемониалом обставляется у них неэстетичный процесс восполнения затраченной энергии, то есть прием пищи, сколько сил тратят они, чтобы приукрасить подброшенный им по воле Великого Каприза инстинкт продолжения рода, то есть размножения, сколько проявляется ловкости, чтобы убить в себе страх перед

исчезновением, то есть перед смертью.

III

Что я тут делаю? Я словно зависаю, погруженный в небольшой пруд. Над собой вижу мутное водное зеркало, а в нем, отраженные снаружи, какие-то блики и суетливые тени; эти блики и эти тени напоминают мне о том, чего я не помню и, вероятно, уже никогда не смогу припомнить. Под собой, отдаленный согласно законам оптики, вижу муравейник бессмысленной жизни, то есть примитивной формы бытия, порожденной капризом, необходимостью или попросту ничем. Я взираю свысока на это движение, вытекающее из пустоты и в пустоте исчезающее либо вытекающее из самого себя и в самом себе исчезающее, следовательно, взираю с ужасом, не ведая, долго ли на это смотрю и как долго буду еще смотреть.

Порой движение жизни – назовем это жизнью в соответствии с номенклатурой смертных – подхватывает меня, как рой комаров увлекает за собой частицу воздуха. Только я не способен подчиняться

законам смертных. Не умею убивать и потому довольствуюсь падалью, не жажду превосходства над другими личностями, не знаю, что значит любить, и не знаю любви.

Нет меня среди них, и одновременно я в каждом из них. Может, прозябаю в их посредственности, отупевший и безвольный, или даю увлечь себя в их жалкие безумства, оставаясь по-прежнему равнодушным и безвольным. Может, порой они узрят меня или почуют, как их собратья псы, увидят или ощутят невзначай в страшном сновидении, на страницах книги, в медлительном закате солнца, в неизвестном прохожем, в колокольном перезвоне, во внезапном спазме наслаждения или боли, в заурядной судьбе близкого человека.

Я добродушный, порой даже мягкий, хоть и довольно равнодушный бог, может, скорее, экс-бог. Охотно принимаю участие в этих играх, в этом движении, порожденном чьим-то капризом или некапризом. Лишь одной игры я не приемлю. И убежден, что никогда ей не

научусь. Никогда не екнет у меня сердце при виде девушки, никогда не затоскую о ней среди ночи, никогда не брошусь в пропасть от любви. Ибо никогда никого не полюблю.

IV

Я веселый бог, и посему, а может, и вне всякой связи с этим у меня приятная, привлекательная наружность. Однако моя внешность не способна привлечь чьего-либо внимания, и это благо, ибо это делает меня свободным, находящимся вне сферы их проблем, устремлений, пристрастий. Моя будничность – первый признак божественности. Я напоминаю любого человека и вместе с тем никого не напоминаю. Существую, и одновременно меня словно и вовсе нет.

Боги благостны, поскольку божественность – это неподвижность. Всяческое зло порождается движением. Движение в этом микрокосмосе вызывает перемены, а нестабильности сопутствует боль. Я кое-что об этом знаю, ибо подвержен приступам почечной колики. Я бог с почеч-

нокаменной болезнью. Время от времени я корчусь от невыносимой боли, хотя как бы ее и не ощущаю, словно знаю о ней только понаслышке, может, из книг, ибо и эти боли – минутный абсурд, вносящий дурацкое разнообразие, способное понравиться. Эти недомогания мочевыводящей системы – один из моих камуфляжей. А их у меня, разумеется, много. Вполне достаточно, чтобы люди принимали меня за своего ближнего. Итак, я работаю, что означает выполнение однообразных манипуляций, считающихся полезными для общества, совокупляюсь по вечерам, как это делают и они в бетонных клетках квартир надо мной и подо мной, иногда пью водку, которая у них высвобождает агрессивное предчувствие абсолюта, тогда как у меня ускоряет процесс выхода этих нелепых почечных камней. Меня похлопывают по плечу, мне рассказывают всяческую чушь, целуют в щеки, обманывают, беря в долг без отдачи, просят о протекции, требуют сочувствия, лживо клянутся в любви, смеются у меня за спиной, подсиживают, готовы принять

меня в свои объединения, союзы либо товарищества, добиваются от меня самоопределения или странных заявлений, и прежде всего каждый из них домогается, чтобы я признал его лидерство и делал то же, что он, и при этом они осатанело куда-то мчатся, спешат, летят сломя голову туда, где нет ничего, кроме черной дыры, бездонной пропасти небытия, которой они панически боятся и которая их столь неодолимо влечет. Случается, кто-то невзначай глянет на меня с тревогой, и тогда я понимаю, что он внезапно ощутил мою божественность. А порой кому-то из них западают в душу мои слова, и, припомнив их, он с ужасом просыпается в полночь. Или вдруг кто-то увидит меня в минуту боли, душевного краха, отчаянья или смертельной опасности и тотчас забывает, едва минует боль, отчаянье или опасность.

Лишь одной игры я не приемлю и убежден, что никогда ей не научусь. Никогда не екнет у меня сердце при виде девушки, никогда не затоскую о ней среди ночи, никогда не брошусь в пропасть от любви.

Ибо никогда никого не полюблю.

V

Спросите меня, мои дорогие, симпатичные червячки – обитатели провинциальной галактики, спросите, почему я не облегчаю ваших повседневных мук. Почему не освобождаю вас от страхов, которые вы сами себе постоянно измышляете, почему не опровергаю ваши мысли, аксиомы и гипотезы, которые вечно заводят вас в тупик, почему не одариваю вас благодетельной судьбой, причем такой судьбой, которая бы возвысила вас над остальными простейшими. Хотя вы каждый вечер молитесь мне, обливаясь слезами и стуча лбом об изголовье кровати.

Я мог бы вас обольщать, мог бы придумывать тысячи логичных и правдоподобных поводов. Но отвечу откровенно: я только огромное ухо, призванное выслушивать ваши жалобы, всего лишь гигантская мембрана, вибрирующая от ваших стонов, я только эхо, переносящее в вечность плач смертных. Может, именно в этом сущность божественности.

Я буду вам сочувствовать, как сочувствовал всегда, с первого мгновения муки, отчаянья, страха, осознанного вами, когда вы то ли еще плавали в воде, то ли уже ползали по суше. Итак, обещаю вам сочувствовать, а сочувствие мое подобно нежному шепоту небес, поцелую разумного предназначения, теплому дуновению в ледяных просторах мироздания.

А может, меня создали, подобно облаку космической пыли, ваши мечты, муки, печаль, беды. И поэтому я никогда никого не полюблю.

VI

Цените добрую надежду, цените радостную уверенность в завтрашнем дне, цените успокоительное предчувствие счастливого конца. Цените оптимизм, лучшее из составляющих той же самой повседневности.

Вы не желаете слышать своих собственных воплей, не желаете видеть зловещих знаков на кебе и на земле, не желаете мерзнуть на студеном ветру бессмысли-

цы – дыхании бесконечной пустоты.

Вот и прекрасно. Оптимизм сулит ванна с теплой водой. Оптимизм обусловливается удачным опорожнением кишечника по утрам. Оптимизм – возможность подремать в железнодорожном вагоне, который мчит в неизвестность.

Оптимизма жаждут и ваши ближние, взявшие над вами верх, подчинившие своей воле, манипулирующие вашими поступками, чаяньями, порывами. Им также нравится, когда вы веселы, довольны и благодушны, ибо тогда не надо вас наказывать, то есть изымать из вечного движения либо отправлять в ненавистное небытие.

Я тоже бог-оптимист и, прежде чем вернусь в усредненное состояние и спрячусь в фабулах ваших печальных судеб и снова растворюсь в гомоне неустанного движения, выдам с разрешения ваших верхов секрет эликсира, называемого оптимизмом.

То, что вы считаете душой, всего лишь определенный уровень напряжения биоэлектрических токов. Разумное ре-

гулирование напряжения и силы этих токов временно вызывает благостное состояние, определяемое учеными мужами как чистый оптимизм.

Ни от кого не ожидайте оптимизма в дар. Производите его сами. В любую свободную минуту возобновляйте свои попытки. Когда, проснувшись поутру, видите за окном, в оргии многоцветья, свежее, задорное, работящее солнце, когда в середине дня вдруг осознаете, что существуете, обретаетесь на этом свете, живете, когда в час похорон друга, которого засыпают тяжелым песком, у вас неожиданно заболит драгоценная, безотказная, жизнелюбивая печень, когда вам внезапно пригрезится на вашем рабочем месте или в какой-нибудь очереди куча денег, когда снова подорожают локомотивы, а у вас временно перестанут выпадать волосы, когда кто-нибудь слетит с высокого поста, а ваш геморрой в тот день почему-то не даст о себе знать, когда зацветут рощи акаций, пахнущие горячим медом, когда сорвутся с веток красные листья и поплывут по задымлен-

ному небу, подобно перелетным птицам, когда тихий снег запорошит землю, леса и заблудившихся путников, а в трубе заурчит веселый и усердный зимний огонь. Я бог-оптимист. Я никогда не затоскую вдруг о девушке. Никогда не брошусь в пропасть от любви к ней. Ибо никого и никогда не полюблю.

VII

Где моя отчизна? Где отчизна богов? Я хотел бы туда вернуться. Хотел бы, даже если бы она оказалась похожей на те края, где я побывал в изгнании. Даже если бы она разверзлась передо мной космической бездной колоссальных и бесконечных страданий, колоссальных и беспредельных неприятностей, колоссальных и безграничных надежд. Нет, пусть она не походит на землю. Зрение мое навсегда пресыщено страданием, слух – рыданиями, сердце переполнено страхом. И при этом пусть она хоть чем-то напоминает землю. Пусть уподобляется ей в краткие мгновенья радостного достижения цели, в мимолетном восхищении

изяществом какой-нибудь былинки или благовонием трав, в волнующей сладости ослепительной вспышки первой любви.

Мне хотелось бы забрать в отчизну богов свою почечнокаменную болезнь и легенду о любви. Любви приземленной и возвышенной, греховной и ангельской, придуманной и стихийной, плотской и извращенной, хорошей и плохой, лишь бы она была. Ибо, может, когда-нибудь, на очередном витке бесконечности, я еще полюблю.

* * *

— Пан Витек! Пан Витек! — кричал кто-то на улице.

Витек сложил тетради, завинтил вечное перо, как он полагал, приносившее счастье. Встал из-за стола.

— Куда? — Мать рванулась от шкафа, в котором что-то перебирала.

— Взгляну, кто зовет.

— Не надо. Я знаю, и ты знаешь кто.

— Неудобно, мама. Я должен выйти.

— Я это сделаю, скажу, что тебя нет дома.

— Я же не ребенок.

— Нет, ребенок. Даже не представляешь какой.

Витек хотел поцеловать ее в преждевременно состарившуюся щеку, но она уклонилась.

— Витек, у меня плохие предчувствия. Это общество не для тебя.

— Я знаю, что делаю, мама.

Она попыталась схватить его за руку, он вырвался и выбежал из дома. Опираясь локтями о забор, на велосипедах сидели Алина и ее кузен в серой студенческой шапочке. Оба велосипеда были мужские, и поэтому девушке пришлось надеть юбку-брюки. Она невинно улыбалась, щуря глаза. Судя по этому прищуру, она была близорука.

Витек подошел неуверенно, кланяясь издали.

— Мы не помешали? — осведомилась Алина.

— Где там. Я только что покончил с уроками.

— Познакомьтесь. Это мой кузен Сильвек, а это пан Витек.

Они обменялись рукопожатием слишком рьяно, демонстрируя друг другу свою мужскую зрелость и энергию, отчего студент едва не свалился с велосипеда.

— Очень приятно, — сказал Витек.

— Это еще посмотрим, — неприязненно ответил кузен Сильвек.

— Пожалуйста, не обращайте на него внима-

ния. Он всегда такой.

— Долго мы будем висеть на заборе? — спросил кузен.

В окне дома зашевелилась занавеска, за стеклом, отражающим небо, мелькнуло лицо матери.

— Прокатитесь с нами к реке, пан Витек?

— Мог бы прокатиться, — сказал он сухо. — Да нет велосипеда.

— Это не беда. Я сяду на раму, а вы за руль. Надеюсь, справитесь?

— Попробую, — произнес он холодно, с демонстративным безразличием.

Подвернув левую штанину, Алина пересела на раму. С деланной непринужденностью Витек вскочил на седло. Резко взяли с места, направляясь к железнодорожному переезду возле станции.

Он держал девушку, удивительно воздушную и хрупкую, между вытянутыми руками, ветер трепал ее пепельные, пахнущие ромашкой волосы, которые щекотали ему брови, глаза, губы.

«Вот бы отпустить тормоза и вместе с нею врезаться с разгону в речные валуны», — сказал он самому себе.

— Не надо так гнать. У меня захватывает дух.

— Пожалуйста, могу ехать медленно, — сказал Витек и нажал на тормоз.

Кузен обогнал их. Студенческая шапка от быстрой езды сползла на затылок и моталась, как старое голенище.

— Вы на меня сердитесь. — В этом безапелляционном утверждении чувствовалась скрытая обида.

— Честное слово, не сержусь. Откуда вы это взяли?

И тут из кустов выскочил знакомый, странный пес-великан и принялся устрашающе лаять, щелкая зубами в опасной близости от ноги Витека.

— Успокойся, Рекс, к ноге! — крикнула Алина.

— Я предпочел бы, чтобы не к ноге, — буркнул Витек.

Они въехали в котлован, откуда начиналась широкая песчаная дорога, ненаезженная, поросшая побегами лекарственных трав, которые еще не вошли в силу и пахли обыкновенной свежей зеленью. Витек смотрел на ее затылок, серебристый, как тополиная листва. И выискивал в памяти спину, всю фигуру девушки, склоненную под абажуром настольной лампы, стройную фигуру, удивительно напоминавшую виолончель светлого дерева. По невысокой расползшейся

насыпи дорога выбралась на луг, весь в весенних озерцах и островках калужниц. Послышался хорошо знакомый истерический голос Виленки, которая по огромным, длиннобородым валунам стремглав неслась к городу. Дорога внезапно обрывалась на берегу, дальше торчало лишь несколько покосившихся свай — остатков моста, некогда сметенного паводком. Спрыгнули с велосипедов. Витек поддержал Алину, которая покачнулась, увязнув в зыбучем песке. Неторопливо, но решительно убрала она из его ладони холодный локоть.

— Положим велосипеды. Будет на что присесть, — предложила Алина.

Уселись на колесах своих машин. Алина и Витек рядышком, насупившийся кузен чуть поодаль, у кустов орешника с мелкими свитками новых листьев. Пес сбежал к воде, прохаживался вдоль берега, высоко подымая лапы.

— Я хотела вас познакомить, — неуверенно произнесла Алина.

Помолчали, думая каждый о своем. Наконец кузен закурил сигарету.

— Вы поступаете на медицинский?

— Да, собираюсь на медицинский.

— Будете лечить буржуев?

— Буржуев, если придется, но прежде всего бедняков.

— Начнете с бедняков, а кончите богачами.

По ту сторону реки над вымощенной булыжником дорогой вставал крутой откос, по которому до самого неба взбирались голые дубы, словно сгорбленные атлеты. Правее крутизна смягчалась, переходя в широкое плато. Там среди лип белел старинный особнячок с высокой соломенной крышей, с громадным колесом аистиного гнезда, топорно слепленной трубой и кособокими колоннами крыльца. Над скопищем хозяйственных построек торчал древний колодезный журавль. И от этого безмолвия старого фольварка, дремавшего по вечерам с керосиновой лампой так близко от города, исходила меланхолия давних, забытых времен.

— Может, погреемся? — предложил кузен. — Не желаете испробовать силу руки?

— Если вам охота.

— Охота-то у меня есть, да хватит ли у вас смелости?

— Ладно, а каков заклад? Люблю азартные игры.

— Уважаю азартных людей, молодой человек. Так, может, сразимся за Алину?

Она резко поднялась с велосипедного колеса.

— Вы спятили? Не разрешаю.

— Отойди, детка, тут мужской разговор. Этот камень подойдет? — Кузен показал на валун у дороги.

— Да, вполне, — согласился Витек.

Они стали по обе стороны камня, плоского, как надгробье. Девушка осталась у обочины зыбкой песчаной дороги.

— Я не хочу, слышите? Не люблю глупых пари. Пан Витек, будьте благоразумны.

Соперники оперлись локтями о камень, в щелях которого поблескивала целебная вода, способная лечить лишаи. Ладони сплелись, как в братском рукопожатии. Витек увидел перед собой светлые, смахивающие на птичьи глаза кузена Сильвека и, пожалуй, в этот момент почувствовал некоторую симпатию к таинственному кузену.

— Пан Витек, немедленно подойдите ко мне, иначе пожалеете.

Кузен Сильвек скорректировал захват. Напористая волна теплого света покатилась по лугам от Пушкарни. Это солнце прорезалось сквозь тяжелые вороненые тучи.

— А что же вы, воробушки, так выкаете всю дорогу. Пора бы заговорить по-человечески, на

«ты», мать вашу, интеллигенция паршивая. Готов, братишка?

Витеку наверняка сделалось грустно, что обряд выяснения отношений был разыгран так быстро и грубо.

— Барчук ты недоделанный, — вздохнул он и добавил: — Я готов.

Соперники напрягли мускулы. Кузен, норовя опередить, обрушился сразу всей силой, но Витек позволил наклонить свою руку едва-едва, удержал клубок ладоней в чуть наклонном положении и словно затаился. Сильвек из розового стал багровым, потом постепенно посинел, жила причудливой формы устрашающе надулась на лбу. Стиснул зубы, рука его дрожала на пределе, дрожали плечи, шея, вздыбленные волосы. Он преодолевал сопротивление Витека всей своей мощью, всей волей, всем самолюбием и не мог его сломить. Витек продолжал выжидать, пока не уловил в лихорадочной дрожи противника крошечный пробел, рассеянность всего на какую-то долю секунды, мгновенную расслабленность, и тут же атаковал. Его выпад обескуражил Сильвека. Ладони снова установились вертикально. Однако это было мнимое равновесие. Кузен Сильвек израсходовал всю энергию. Он еще не

сдавался, продолжал единоборство, но локоть его уже отчаянно искал спасения на гладкой поверхности камня. Сильвек сломился вдруг. Витек резким рывком прижал его руку к гранитной плите, которая была их рингом. Кузен Сильвек высвободил свою кисть, поднял перед собой, как обиженного ребенка, дуя на пальцы. Отошел к дороге и рухнул на влажный песок.

— Ну и ручища, черт побери, — застонал он. — Суставы потрескались, чтоб я сдох.

А она стояла на прежнем месте, на фоне искрящегося солнечного сияния четко вырисовывалась ее фигура.

— Покорнейше прошу прощения, паныч, — тихо произнес Витек.

— Ну ладно, ты выиграл. Она твоя. — Кузен сел и принялся прикладывать к руке сырой песок.

— А кто-нибудь поинтересовался моим мнением? — спросила Алина.

— Не бойся, я не боролся за тебя, — заверил Витек.

— А за кого?

— Ни за кого, ни за что.

За рекой по шоссе ехал на мотоцикле пан Хенрик, выдававший себя за техника-дорожника. Величественно катил он на своей машине, кото-

рая вызывала суеверное восхищение у горожан и смертельный ужас у деревенских. Мотоцикл чихал голубоватым дымом, мотоциклист прибавлял и сбрасывал газ, маневрировал от обочины к обочине. Потом что-то бабахнуло, мотор заглох, пан Хенрик беззвучно докатился до поворота на фольварк, где с незапамятных времен возвышался старый деревянный крест. Там он занялся ремонтом своего чудовища.

— Вот и снова скука, — зевнул во весь рот кузен Сильвек. — Еще скучнее, чем раньше, а раньше было гораздо скучнее, чем вчера. Развлекайте меня, воробушки.

Река текла в своем русле, но всюду еще сохранялись следы недавнего весеннего паводка. Полегший прибрежный кустарник лежал, облепленный илом. Пучки соломы, обломки изгородей, какой-то хлам и речные камни — все это валялось по краю заливного луга.

— Люди, поведайте мне, можно ли околеть от скуки? — застонал Сильвек, укладываясь на своем велосипеде. Он поднял пострадавшую руку над головой, растопырил пальцы, подставив их легкому ветерку, робкие порывы которого пробегали вдоль реки.

— Скажите, мальчики, — вдруг спросила Али-

на, — скажите откровенно, не притягивает ли вас вода?

Она спустилась к воде, изуродовавшей берег, и загляделась на мутные водовороты, стремящиеся в сторону города. А мальчикам, вероятно, показалось, что это река повысила голос, захлебывающийся от спешки.

— Не тянет ли вас глубоко-глубоко погрузиться в холодную пучину?

Алина вытянула ногу и задержала ступню на вершок от взбудораженной поверхности реки.

— Это чего же ради — глубоко-глубоко? — спросил кузен Сильвек.

— Чтобы умереть.

Витек поднял плоский камешек и швырнул плашмя. Камешек семь раз срикошетил, все более сокращая интервалы, а потом канул в воду, взметнув веер искрометных брызг.

— Не бывает одной смерти, — произнес он с расстановкой.

Алина не спеша обернулась, все еще почти касаясь ступней булькающих водяных воронок.

— А сколько есть смертей?

— Наверняка та смерть, которую мы знаем, не последняя.

Наверняка после нее происходит возврат к

жизни, некий необъяснимый всплеск бытия, который иногда длится годы, иногда дни или часы, а иногда только секунды. Могильщики утверждают, что большинство погребенных просыпается в гробах. Поэтому при эксгумации обнаруживают чудовищно искривленные тела, вытаращенные от боли глаза, откушенные пальцы. Вам не случалось встречать людей, вызывавших у вас инстинктивную уверенность, что они уже когда-то умирали?

Алина отдернула ногу от поверхности воды.

— Я уже однажды умирала.

— Когда? — спросил Витек.

— В детстве. Я очень болела, долго, бесконечно, а потом все началось как бы сызнова.

Кузен Сильвек подложил руки под голову. Он смотрел в небо, заполненное облаками, похожими на сталактиты.

— Прекратите болтать глупости, слушать противно.

— Почему в доисторические времена покойников не предавали земле, а только сажали возле пещер, оставляя им съестные припасы? Почему позднее людей сжигали, словно желая избавить их от мук нового существования? Лишь спустя тысячелетия люди забыли те знания, с которыми

очутились на земле.

— Слушай, парень, эта чокнутая с утра до ночи бредит о смерти. Не от нее ли ты заразился?

Алина как во сне побрела к ним, лежавшим на дороге. Заторможенными движениями хрупких рук она, как усталый пловец, хваталась за поваленные паводком деревья.

— А может, какое-то предчувствие нынешних людей примиряет нас со смертью?

Витек видел под тонкой тканью узкой юбки ее бедра, видел обтекаемость этих бедер, видел, что голубой свитер ревниво облегает груди, и вспоминал их свободными и одновременно пугающимися свободы.

Пес запыхтел у него над ухом. Не сводя глаз с девушки, Витек протянул руку, чтобы ухватиться за пахнущие ветром патлы. И тогда пес цапнул его за пальцы.

— Он тебя тоже любит, — сказала Алина.

— А кто еще меня любит?

— Все. Даже Зуза, с которой ты меня встречал.

— А ты?

— Придется смириться. Я не умею любить.

— Черт бы вас побрал, какое бесстыдство, — рассердился кузен. — Вы совершенно меня не стесняетесь. Ты, недотепа, ты, профессор кислых

щей, ведь она из тебя сделает гоголь-моголь. Только вчера она признавалась мне в любви.

Алина подняла руки, чтобы собрать волосы, разметанные ветром. Этот обыкновенный жест показался Витеку удивительно неприличным и откуда-то, неведомо откуда, хорошо знакомым по своей возбуждающей силе.

— Да, вчера я любила тебя, а сегодня уже не люблю. Надо возвращаться, солнце заходит.

— Ты меня еще вспомнишь, ушлая мещанка, дешевая кокетка, фифочка салонная, — святотатствовал кузен Сильвек, подымая велосипед.

Потом они сошли с дороги и начали взбираться напрямик по пологому склону с вылинявшей травой.

— Зачем он сюда приехал, как думаешь? — тихо спросил Витек пса, который с непонятным упрямством не выпускал изо рта его руку. — Пикируются, дурачатся, щекочут нервы друг другу, а я получу пинок от барчука или от барышни.

И недружелюбно взглянул на кузена, толкавшего велосипед вверх по склону с грозно нахмуренным челом под водопадом спутанных волос, которые свешивались до подбородка, украшенного ямочкой и лоснящегося от пота.

На Колеевой улице, что вела в Верхнее предме-

стье, от забора, оплетенного диким виноградом, послышалось:

— Пан Витек, пан Витек, можно вас на минуточку?

Стоял там пан Хенрик, а рядом сверкал никелировкой починенный мотоцикл, грозная машина, якобы исчадье ада, источник авторитета техника-дорожника. У пана Хенрика было широкое мясистое лицо, великолепная грива вечно сальных волос и довольно упитанная фигура. И было в нем что-то от женщины, несколько побольше от мужчины и чуточку даже от зверя.

— Ну, мы не будем тебя задерживать, — сказала Алина. — Спасибо за компанию.

— Благодарю, — сказал Витек, отдавая ей велосипед. — Барчука тоже благодарю.

— Да пошел ты… — вспылил кузен Сильвек. — Это ты корчишь из себя барчука, а сам норовишь поклевать господское дерьмо.

Он зашагал прочь во гневе, а за ним удивленная его вспышкой Алина. У поворота кузен обернулся, смерил Витека долгим взглядом и обнял свободной рукой кузину. Так они и пошли вверх по склону, ограждаемые с обеих сторон велосипедами.

— Пан Витек, — снова подал голос техник-до-

рожник, — вы разрешите…

Витек подошел к забору, за которым патефон разражался еще недавно модным танго: «Розы осенние, чайные розы, навевают щемящую грусть». В палисаднике за столом сидели сестры-двойняшки, Грета, Левка и Энгель.

— Идите к нам! — крикнул Левка. — Мы отмечаем приход весны!

Пан Хенрик ехидно усмехнулся, и Витеку сделалось не по себе. Какой-то необъяснимой тревогой веяло от этого человека, одетого с подчеркнутой элегантностью, покладистого и кичливого, рассеянного и бдительного, робкого и агрессивного одновременно.

— Ай-яй-яй, пан Витек, — покачал он головой вроде бы с восхищением, но и с укором. — У вас есть свои тайны.

— Какие еще тайны? — спросил Витек не очень уверенно.

— А зачем вы ходили к Володко?

— К какому Володко?

— К тому самому. Не прикидывайтесь.

— Я не прикидываюсь и не знаю, о чем речь.

— Ведь вы были у него, к чему отрицать.

— Когда?

— Ну, у его жены. На улице Субоч, дом номер

семь.

Пролетел с торжественным гулом первый майский жук. Солнце постепенно расплавлялось над хребтом дубравы.

— Это была его жена?

— Жена не жена, живут по согласию. А вы туда зашли и пробыли добрых четверть часа.

— Какой-то человек у Острой Брамы попросил передать сверток.

— Чернявый, как татарин, в армейских штанах?

— А откуда вы знаете?

— Я многое знаю, — улыбнулся пан Хенрик и поправил фуляровый шейный платок. — Больше такого не делайте. Могут быть неприятности.

Энгель высунулся из кустов сирени.

— Дамы просят, бога ради, как вам не стыдно.

— Ну пошли, — произнес техник-дорожник, с внезапной сердечностью подталкивая Витека. — Я, знаете ли, только из уважения, вы мне действительно нравитесь. Я уже многим помог за свою жизнь.

Под яблонями, в густом багряном свете заходящего солнца восседала честная компания за кособоким одноногим столиком. Цецилия и Олимпия внимали патефону, распевавшему

металлическим голосом: «Осенние розы, как губы любимой моей...» Левка украдкой обхватил талию Цецилии и осторожно подбирался пальцами к ее бюсту, пользуясь замороченностью женщины. Грета мелкими глотками пила смородинное вино.

— Ну что, дамочки? — начал было пан Хенрик.

— Тсс, молчи, — шепнула Цецилия, тупо уставясь на желтый край неба, к которому прильнули обрывки медно-красных облаков.

— Я хотела тебе кое-что объяснить, — тихонько проговорила Грета. — Чтобы ты ничего не подумал.

— Я ничего и не думаю, — проворчал Витек.

— Но ты как-то странно ко мне относишься.

— Тсс, — снова прошипела Цецилия.

Между тем Левка исподтишка уже достиг пышного бюста Цецилии, основательно фортифицированного корсажем. Она, видимо, не ощущала его прикосновений, а он был слегка обескуражен тем, что держал в объятьях бездыханную женщину.

Великая тишина опускалась с неба. Зябкий и влажный ночной воздух, профильтрованный лесами и тучами, слегка пощипывал руки и щеки. Патефон захлебнулся скрежетом на хо-

лостом ходу. Энгель снял мембрану. Остановил механизм. Где-то за рекой, может, в той древней усадьбе, пробудился звенящий, как песня комаров, тихий голос Цимбал. Кто-то неведомый настойчиво учился играть на старинном инструменте, напоминающем столешницу с натянутыми струнами.

— Я бы уснула и спала, спала бы, не просыпаясь, — вдруг произнесла Цецилия.

— Жаль превосходного вечера, — сверкнул зубами техник-дорожник и поправил пестрый фуляр на шее.

— Но я все равно не засну. Буду мучиться, как обычно, до утра, — говорила в пространство Цецилия. — Буду ворочаться с боку на бок, то душно, то жарко, от всевозможных мыслей нет отбоя, какие-то глупые мечты, нелепые надежды, сердце стучит все сильнее, одолевает внезапный страх, а за окном — мертво, черная пропасть и время, которое остановилось и не может рвануть вперед, к рассвету, к солнцу, к жизни.

— Что ты нагоняешь тоску всякой ерундой? — шепнула Олимпия. — У тебя есть снотворное. Целую баночку сегодня купила. Намертво отключишься на десять часов. Не стоит портить людям настроение.

— Может, проглотить все эти порошки сразу и уснуть надолго, до самого Страшного суда?

Пан Хенрик поднял лафитничек с вином, в котором уже плавал вечерний сумрак. Хотел что-то сказать, даже пошевелил мясистыми, самодовольно выпяченными губами, но так и не решился.

— Самоубийство — страшный грех, — хрипло проговорила Грета и закашлялась, прочищая горло.

Цецилия повернула к ней голову, глянула вдруг вполне осмысленно.

— Почему грех? А если нет охоты жить, а если ненавидишь каждый грядущий день? К чему страдать, к чему гнить заживо среди людей? Это грех похуже.

Техник-дорожник проглотил вино.

— Мы ничего не знаем. А раз не знаем, то лучше прислушиваться к натуре, к природе.

— Страшно, — сказала Цецилия. — Жить страшно, и лишить себя жизни страшно.

— Возможно, когда-нибудь достаточно будет подать обоснованное прошение и получить талон на умерщвление в городской больнице, — сказал Витек.

На него взглянули по-разному. Наиболее

затуманенный взор был у Левки, который, предосторожности ради, прервал манипуляции возле бюста Цецилии.

Как бы случайно Грета коснулась теплыми дрожащими пальцами руки Витека.

— Тебе плохо?

Витек убрал руку с отсыревшей лавки.

— Я не говорил, что мне плохо.

Со стороны города приближался товарный состав. Тяжело кудахтал, невидимый среди черных холмов.

Цецилия стряхнула с себя оцепенение.

— Перестань лапать, сопляк.

— Я от избытка чувств, симпомпончик. — Невозмутимый Левка снова попытался ее обнять.

— Отстань, а то врежу по зубам. Одно и то же, беспрестанно. А сказал ли ты когда-нибудь женщине приятное слово, сказал, что любишь, боготворишь до безумия?

— Могу сказать, — пробасил Левка.

— Ну так скажи.

— Вам сказать?

— А хотя бы и мне.

— Они же все слушают.

— Вот именно, пусть слушают.

Левка с минуту раздумывал, тяжело отдуваясь.

Голос далеких цимбал то тонул в лихорадочном плеске реки, то всплывал и робко устремлялся к людям. Левка неожиданно потянулся к декольте Цецилии.

— Люблю тебя, — захрипел.

Она ударила его наотмашь по лицу, выскочила из-за стола, побежала в глубь сада. Левка растерянно заморгал. Постыдился притронуться к щеке, хоть и очень хотелось. Чувствовал, что она багровеет, уподобляясь огромной розе.

— Поэкспериментировал, — бесстрастно отметил пан Хенрик.

В дверях показалась старая Путятиха.

— Бесстыдницы, бесстыдницы, — заныла она. — У всех на глазах рассиживаются со школьниками, пьют вино, слушают музыку. Господь накажет, ох, накажет.

И, как бы выполнив неприятную повинность, вернулась к своим домашним делам.

— Цецилия, иди сюда, слышишь? — крикнула Олимпия.

— Я, пожалуй, должен обидеться, — залепетал Левка. — Без объяснений влепила пощечину, до сих пор в ушах звенит. Может, потому, что я чужой?

— Вот видишь, не лезь к женщинам, наконец-то

и тебя проучили, — сказал Витек. — Тебе не дают повода для панибратства. Взгляни, какие они возвышенные, недоступные, словно ласточки, парящие под облаками. А придет некто, даже не взглянет — кинутся, завертят хвостами, завздыхают. От тебя требуют поэзии, чудесных взлетов, готовности на подвиг, с другим — без всяких церемоний лягут в постель. Возьми себя в руки, попей капустного сока, вспомни, что такое гордость.

Левка тяжело заерзал на лавке, разрисованной извилинами древесных слоев, точно географическая карта. Схватил, пригнул голову Витека и зашептал ему на ухо, обдавая жарким, собачьим дыханием:

— Ей-богу, меня разнесет, лопну в один прекрасный день. Надо куда-нибудь воткнуть, иначе тронусь умом. Знаешь, как я страдаю? Только взгляну на юбку, дух захватывает, увижу волосы, разметанные ветром, задыхаюсь, мелькнет голая нога — весь горю. Даже на дырку от сучка не могу смотреть равнодушно. Так это меня изводит, ей-богу. Ни тебе за уроки сесть, ни в церкви помолиться, ни спать лечь. А если ночью прихватит, то не дай боже. Как рессорой до потолка подбрасывает. Свихнуться можно.

— Все проходит, это тоже пройдет.

— У меня не пройдет. Даже после смерти буду гоняться за ангелами. Такая беда.

— Каждый от этого страдает.

— Ты тоже?

— Я тоже. Но женщины не дождутся, чтобы я дрогнул и поддался. Сам посуди: немного мяса, немного костей, немного волос. В чем же суть? Мы сами себя морочим, выдумываем какие-то эмоциональные конструкции, какие-то любови, экстазы, парения.

— Так что же, гонять в кулак? — простонал Лева и захныкал.

— Занимайся спортом, совершай дальние прогулки, читай книги о путешествиях.

— Книги, прогулки, спорт, — беззвучно плакал Левка. — Я должен что-то сделать, иначе сорвется с привязи и меня убьет. У него же сокрушительная сила авиабомбы в тонну весом.

Снова появилась старая Путятиха. Принялась наводить порядок на столе, собирать стаканы, щербатые тарелочки, серебряные ложечки с истонченными краями. Город уже мерцал тысячами огоньков и казался теперь более близким, словно подкрался в вечернем сумраке к железнодорожному полотну и смотрел на новую зелень садов, на старые дома и заколдованные виллы,

замершие в ожидании ночи.

— Уже поздно, пора спать, спокойной ночи, дорогие, — скрипела старуха. — Все хорошо, что в меру. Все хорошо, что хорошо кончается.

— Цецилька, возвращайся, слышишь? — крикнула еще раз Олимпия.

Левка подкатился теперь к ней.

— Вы озябли. Вижу гусиную кожу. Может, обнять, будет теплее?

Олимпия ничего не ответила, вертела в руках какую-то склянку. Левка, подрагивая от возбуждения, облапил ее.

— Какое нахальство, — очнулся техник-дорожник. — Откуда у вас такая натура?

Левка медленно обратил к нему широкое костистое лицо, словно растянутое на деревянном каркасе.

— А вы кто такой?

— Я человек.

— Ну и я человек.

Олимпия зябко поежилась и вдруг положила голову на Левкино плечо.

— Взгляните, какая луна, — проговорила томно.

Действительно, на остроконечной башне костела за кудлатым строевым лесом восседала

огромная луна, багровая и перепачканная, словно выбралась из ящика с пылью и паутиной.

— Хенек, скажи какой-нибудь стих, — попросила капризно Олимпия.

— Я уже не пишу рифмованных стихов.

— А что пишешь?

— Белые стихи. Поэтическую прозу.

— Продекламируй что-нибудь, а то скучно и плакать хочется.

— Это не для вас, слишком сложно.

— Витек, — прошептала Грета. — Энгель тебе уже говорил?

— Нет, ничего не говорил.

— Я должна уехать. После окончания занятий в гимназии отец отправляет меня в Германию.

— Что случилось?

— Еще ничего не случилось. Он опасается войны.

— Кто опасается войны? — вмешался бдительный техник-дорожник.

— Пустяки, мы просто болтаем, — поспешно сказала Грета.

— Не будет никакой войны. Война немыслима в нынешнем мире. Войны никогда не будет.

— Всегда так говорили. — Олимпия оторвалась от плеча Левки.

— При современной технике война невозможна. Я читаю зарубежную прессу. К тому же достаточно поколесил по свету и знаю, что говорю. Кто с кем будет драться? Пан Витольд с Энгелем или Энгель с Левкой?

Витек протянул руку.

— Энгель, мы будем с тобой сражаться?

Тот схватил ладонь Витека и стиснул так крепко, что хрустнули косточки.

— Будем жить долго и счастливо до самой смерти. Как полагаете, доживем до двухтысячного года?

— Мне будет тогда восемьдесят лет, — сказал Витек.

— А мне семьдесят восемь, — сказала Грета.

— А вам? — Лева склонился над Олимпией, которая ковыряла в невидимой трещинке на столе. Патефонная пластинка уже лоснилась от вечерней сырости.

— Что мне?

— Охота ли вам дожить до двадцать первого века?

— Мне достаточно погибнуть в тысяча девятьсот семьдесят пятом году.

— Почему погибнуть?

— Потому что тогда настанет конец света.

— Господь Бог постоянно грозит концом света.

— При чем тут Господь Бог? Люди сами могут устроить конец света.

Пан Хенрик откашлялся и подсел к ним поближе, ибо философия была его коньком.

— Как ты это понимаешь, детка?

Олимпия снова поглядела на луну, которая уже свалилась с башни костела и медленно плыла по фестончатой линии лесного горизонта.

— Может, взорвут планету по ошибке, а может, попросту не хватит земли, воды, воздуха, и конец света будет наступать постепенно, как на смену осени приходит зима.

Кто-то приближался, петляя среди деревьев. Это была Цецилия. Она заботливо обнимала себя обнаженными руками.

— Какой очаровательный, какой странный вечер, — произнесла она дрожащим голосом. — Жуткая туча птиц висит над городом. А вы еще сидите?

— Делать нечего, надо идти спать, — сказал, вставая, Энгель.

— Вам хорошо, — вздохнула Цецилия. — А где мои порошки?

— Где-то тут были, — сказала Олимпия. — Наверняка склянка на столе, только в темноте не

видно.

Все принялись ощупывать едва различимую крышку стола. Крупные майские жуки пролетали с деловитым гудением и стихали в ветвях сада, пряно благоухавшего смолой плодовых деревьев.

— Не могу найти моего ночного лакомства, — сетовала Цецилия. — Как же я засну без моей амброзии?

— Склянка была тут минуту назад, я только что держала ее в руках.

За забором пан Хенрик уже пинал кикстартер своего мотоцикла. Пахнуло чем-то неведомым, какой-то чужеродной гарью, поразительной анонимностью, поскольку в те времена машины еще не осмеливались изрыгать зловоние, ибо тогда машины были покорны и стеснялись собственного существования.

Все общество собралось на улице, наблюдая за отбытием техника-дорожника. Он надел кожаный шлем и застегнул наушники под подбородком, потом напялил огромные очки, опоясав голову широкой парусиновой лентой, натянул на толстые, мягкие пальцы черные перчатки с раструбами, как крылья нетопыря. Мотор взрывался на малых оборотах, его гогот метался по

долине, порождая передразнивающие, обманчивые отголоски в лесу возле костела, в пойме реки, в руинах старинной фабрики, называвшейся неизвестно почему Пушкарней. В некоторых окнах вспыхивал свет, кое-где скрипели двери, и наиболее любопытные обыватели выходили на крылечки. А пан Хенрик уже гремел полными оборотами, добавлял газа, и казалось, железное чудовище вот-вот сорвется с привязи и пронзит эту раннюю ночь навылет. Пан Хенрик оседлал машину.

— Жизнь — это вещь! — выкрикнул он и постучал кулаком в кожаную грудь. — За жизнью надо гнаться и ловить ее за хвост.

Плеснув щебнем из-под заднего колеса, он рванул во тьму, а впереди него, трепыхаясь, как ночная бабочка, побежал клубочек света от фары. Потом машина свернула вправо и растворилась во мраке у линии горизонта, изломанной массивом города.

Цецилия, как лунатик, взобралась на забор. Ее белое лицо и белые руки словно фосфоресцировали. Все больше майских жуков кружило над головами. В их гуле заглох голос мотоцикла пана Хенрика.

— Не взял ли кто-нибудь из вас мои порошки?

— Зачем нам порошки, мы спим как убитые до утра.

— Где-то были, а теперь пропали. Чего ты плачешь? — обратилась к сестре Цецилия, выходя из недр сада. — Купим завтра новые. Лишь бы ночь переждать.

— Ах, что там порошки, — захлюпала носом Олимпия. — Буду ли я спать, нет ли, мне все равно.

— Так чего же плачешь?

— А я знаю? Плачу, и все.

— Весна. Еще одна весна. К тому же какая-то никакая, поскольку и год обыкновенный. Тысяча девятьсот тридцать девятый. Ничем не запоминающийся. Спокойной ночи, дорогие.

Сестры в обнимку пошли домой, где их уже подкарауливала старая Путятиха.

— Снова слезы, — заныла она. — Совсем рехнулись, бесстыдницы.

Луна поднималась все выше, гася вокруг себя звезды. С реки наплывали ошметки тумана, похожие на очнувшихся утопленников.

— Ну, тогда до завтра, — сказал Витек.

— Мы тебя проводим, — быстро сказал Энгель.

— Через улицу хочешь проводить?

— Тоже стоит. Нам хочется, верно? — повернул-

ся он к сестре. Грета молча сделала шаг вперед. Ее белые, прозрачные волосы закрывали ей плечи и походили теперь на свадебную фату из плотного тюля.

— Странный человек этот пан Хенрик, — тихо произнес Витек.

— Странный, — поддакнула, не оборачиваясь, Грета. — Он не мужчина.

— А кто?

— Не знаю, — замялась она. — Не знаю, как это назвать. Он словно какое-то диковинное, несчастное, больное животное. Вроде больного мула.

Витек отворил калитку, все вместе вошли во двор.

— Ну так спасибо, до завтра.

Помолчали с минуту.

— Может, хочешь, чтобы мы с тобой еще побыли?

— А что случилось?

— Нет, ничего. Еще рано.

Энгель словно чего-то напряженно дожидался.

— Мне пора, привет.

— Не попрощаемся?

— А почему мы должны прощаться?

— А почему не должны?

Энгель обнял Витека и поцеловал в висок возле

уха.

— Ну а ты, Грета?

Она подошла бесшумно, точно босая, остановилась близко, пожалуй, даже слишком близко. Вздрогнула от холода и подняла глаза.

— Привет, — прошептала с расстановкой, отвернулась и выбежала на улицу.

Витек подождал, пока утихли их шаги. В доме кто-то яростно бранился, монотонно вопила женщина, и это злословие, приглушенное стеной, походило на экзотический напев.

Витек вернулся на улицу. Стал на углу в круге света от фонаря. Смотрел на широкий склон у костела, где жил лес, где слышался чей-то шепот, какие-то вздохи, какой-то манящий шум.

И вдруг что-то толкнуло его туда. Он побежал вверх по улице, ничуть не смущаясь отзвуков своих шагов, гремевших по бетонным плитам. Потом свернул на тропу со следами давно растаявшего лыжного трамплина, упорно карабкался по вздыбившемуся откосу, а из ночи навстречу ему выходил лес, и обступал его со всех сторон, и как бы поддакивал своим зеленым шумом, и подзадоривал поклонами высоких сосен.

А потом Витек растерянно остановился на краю оврага, за которым были уступчатые террасы

сада и угловатая глыба виллы. Что-то едва поблескивало справа от нее, нечто подобное кузову припаркованного автомобиля. Но, кроме этого, он не разглядел ни искорки света. Дом спал глубоко и расслабленно. Даже стекла не отражали ни звезд, ни луны.

Подал голос пес-великан. Заголосил все протяжнее, срываясь на нерешительное подвывание. Витек опасливо огляделся, вероятно, ему показалось, что кто-то стоит у него за спиной. Но вокруг был только лес, а лес по ночам пугает лишь до того момента, пока в него не войдешь. И Витек попятился к опушке. Видимо, ждал, что ненароком засветится окно или кто-нибудь выйдет на крыльцо. Но дом спал крепко и выглядел как неживой.

Потом Витек остановился среди деревьев на краю долины. Смотрел на город, облитый сверху блеклым заревом, смотрел на серебристые нити железнодорожного полотна, похожего на гриф гитары, смотрел на тишину долины и вдруг выкрикнул робким, сдавленным голосом:

— Алина!

Возглас утонул в басовитом гомоне деревьев.

— Алина! — крикнул изо всех сил.

И эхо не вернулось. Сбоку, между стволами, ви-

села луна с поразительно четко прорисованными очертаниями таинственных материков и морей, луна, которая в те времена была еще началом того света, первой ступенькой вечности, оком Господа Бога.

— Люблю! — крикнул Витек.

Испугался собственного голоса, глянул по сторонам. Однако ничего не изменилось. Долина спала, а лес над нею бормотал молитвы.

— Люблю! Слышишь?

И вдруг рванулся, словно намереваясь растолкать все и всех. Полетел вниз головой под откос, ноги не поспевали за туловищем, хотел еще что-то крикнуть, даже разинул рот, и в этот момент дорогу ему заступил ствол старого клена.

Разбудило его ощущение тепла в ладонях. Словно зачерпнул полные пригоршни воды, прогретой солнцем. Оказывается, это пес лизал руки, пахнущие чем-то для него привлекательным. Витек привстал на мокрой листве. Машинально коснулся лба. Нащупал большую горячую шишку, облепленную кровью.

— Это ты, Рекс? — спросил ошарашенно.

Пес подпрыгнул, припал на передние лапы и лизнул ему лоб.

— Почему ты за мной шпионишь?

Витек встал на ноги и почувствовал тошноту. Наклонился, открыл рот, но его не вырвало.

— Я, пожалуй, спятил? Верно, Рекс?

Он продолжил спуск в направлении улицы. Увидал канаву, увидал мутный поток. Набрал в обе пригоршни пронизывающей холодом воды и плеснул себе на лоб.

— Этакая корова, этакая коровища занудная. И чего я шатаюсь по ночам, как идиот? Сейчас, котик, сообразим, что для меня главное. Ага, пожалуй, интеллект, эрудиция, железные нервы, четко намеченная цель, никаких угрызений совести, смерть мягкотелым.

Пес остановился на тротуаре. Дальше он не намеревался провожать. Витек обернулся не без труда.

— Скажи ей, скажи ей… а что ты ей скажешь? — Потрогал голову, охнул. — Лучше ничего не рассказывай. Что было — миновало, забудем. Она шлюха.

Пес молчал, не реагировал на оскорбление хозяйки. Где-то внизу издыхал от одышки товарный состав.

— Шлюха, — повторил Витек, — хотя, может, и нет. Кто в ответе за мой кретинизм? Хотя, пожалуй, все-таки шлюха. Так, вообще.

Потом, в затихшем доме, он пробрался в боковушку.

— Спите, дедушка? — спросил шепотом.

Старик закашлялся, скрипнули пружины койки.

— Я уже никогда не умру. Всех похоронят, а я буду жить.

Витек подошел, присел на краю постели.

— Дедушка, я влюбился.

Вонь прогоркших снадобий защекотала в распухшем носу.

— Я влюбился, слышите, дедушка?

Старик снова надсадно раскашлялся, словно хотел исторгнуть печень.

— Слышу, да уже не помню, что такое влюбленность. Погоди, дай припомнить. Что-то такое было. Какой-то дурман, безумие, полнейшее чудачество. Куда-то бегал, где-то простаивал под окнами, хотел покончить с собой. Помнится, ужасно колотилось сердце, постоянно краснел, что-то болело, крепко болело, зато сладостно, и эта на удивленье сладостная боль возносила до небес, видимо, душа болела или нечто подобное. Теперь уже припоминаю, да, припоминаю, только это меня удивляет, так удивляет, что кажется непостижимым, бессмысленным, словно проис-

ходило с кем-то другим, да, что-то такое было, не отрицаю, однако точно, сынок, не припомню.

В соседней комнате заговорила во сне мать. В оконный проем уже втискивалась луна, прямоугольник мертвенного, пугающего света приклеился к стене над головой больного.

— Почему молчишь?

— Я влюбился, дедушка.

— В этом, пожалуй, нет ничего плохого, я уже толком не помню, все у меня перепуталось, хотя тогда, вероятно, было хорошо и наверняка не вредило, раз я до сих пор живу и не могу умереть.

Какое-то время они оба молчали в оглушительно кричащей тишине. Старик начал искать руку внука. Витек услужливо подсунул ему ладонь, ожидая утешения. Костистые пальцы во влажной оболочке жадно ухватили ее.

— А знаешь, я перед сном обязательно перекрещусь и попрошу об отпущении грехов. И все мне кажется, что крестное знамение недостаточно совершенно, неправомочно и не достигает Бога. Поэтому я крещусь еще раз, чтобы подправить, и еще раз, чтобы было лучше, и не могу, сынок, кончить, творю крестное знамение иногда до самого утра. О чем ты задумался, дитя мое?

— Я влюбился, дедушка.

— Ну, ладно уж, ладно. Никто от этого еще не умирал.

— А может, я первый умру.

* * *

В те времена Литва была неопределенным географическим пространством, неясной этнической формацией, неуточненной культурной зоной. В те времена Литва была внезапной летней грозой или, скорее, нутром угасающего вулкана, который умирал в последних конвульсиях. Литва тогда была огромным закатным солнцем, что оставляло после себя россыпи поразительно великолепных бликов и осколков меркнущей радуги.

Она доживала свои дни в польском говоре Виленщины, в белорусских песнях, в литовских прибаутках, еще держалась в гибнущих обычаях, в подверженных минутным вспышкам широких натурах, в несуетной и прочной человеческой доброте. Она уходила в забвенье по просторам, полным буйства цветов, медвяных запахов трав и вселяющих суеверный ужас лесов. Уходила в непостижимое и иссякающее с каждым днем прошлое озерцами тихой грусти, разливами меланхолии, извивами реки предчувствий.

Какими были те люди с литуализированными фамилиями и полонизированными душами, с полонизированными фамилиями и литуализированными душами? Какими были люди, молившиеся Иегове и православному Богу, боящиеся Девай-тиса и Перуна, Черта и Люцифера, Дня поминовения и Судного дня? Какими были те потомки татар, поляков, евреев, литовцев, белорусов, караимов и всех прочих, кого страх, обиды и беды загнали сюда, в северные дебри и болота?

Они разбрелись по свету. Живут разобщенно и одиноко. Забыли свой язык, который был многоязычен. И лишь порой в чужом городе, среди чужих неонов, запоет осенний литовский ветер и сверкнет ненароком злое добро или доброе зло, и в средоточии нормальности вдруг эхом отзовется какая-то захватывающая дух и манящая ненормальность.

Умирает земля чернокнижников и ворожей, умирает земля пророков и мессий, которые так и не успели спасти мир. В вечном шествии победоносной цивилизации в неведомое будущее вытоптаны луга, сожжены боры, вытравлены эмбрионы гениев.

Так возлюбим же то, что осталось от Литвы.

* * *

Витек стоял на углу перед огромной зеркальной рекламой курительной бумаги и папиросных гильз. Поглядывал в сторону гимназии, которую загораживали два ряда каштанов, усыпанных теперь бутонами, словно вымоченными в густом, липком сиропе. Накрапывал дождь, собственно, не дождь, скорее, разжиженные облака дремотно приземлялись на улицах города. Витек глянул в мутное зеркальное стекло и увидал свое лицо, деформированное изъянами рекламного зерцала и вчерашним столкновением. Узрел физиономию, которая столько раз казалась ему интересной, симпатичной, хотя чаще повергала в отчаянье заурядностью, добропорядочной глупостью и возмущала тем, что обретена им вопреки его воле. Шишка посинела, удобно устроившись на лбу, нос заметно увеличился в размерах.

О, если бы это была та минута, которая наступит через шесть месяцев или лучше через год. О, если бы все было уже пережито и осталось далеко позади. Впрочем, я как-нибудь переживу это, должен пережить, все переживают. К чему терзаться, проще расслабиться и отпустить поводья, пусть время несет меня по течению, пусть события

влекут за собой. Настанет же время, по истечении двенадцати месяцев, когда я буду обогащен пока неизвестным мне опытом, новыми обретениями. Ибо нам нравится обретать, наше поколение обожает чувствовать себя сопричастным к любым озарениям мирового масштаба. Это наша страсть, наше хобби. Мы соревнуемся между собой по количеству подобных обретений. Иногда нам достаточно чуть соприкоснуться с каким-нибудь происшествием, чтобы причислить его к своим трофеям. Может, и сейчас все кончится таким, едва ощутимым соприкосновением?

В этой распыленной сырости лихорадочно погрязал город — скопище костелов, молелен и церквей, тарахтящих автобусов, грузовых платформ на конной тяге, пролеток, скопище тесных, шумных улочек без канализации, крестьянских базаров, толкучек лоточников, скучающих в увольнении солдат, киношек с деревянными скамьями, убогих, ветхих публичных домов, лавчонок, где продавались только мятные лепешки да «лизалки», скопище многих народов, перемешанных причудливо и словно бы бестолково, бессмысленно слепленных социальных групп, прибежище жалкого богатства и разнузданной нищеты.

В женской гимназии затрезвонили электрические звонки. И тут же послышался гомон девичьих голосов, как будто невзначай разбудили несметную воробьиную стаю. Вот уже первые гимназистки сбежали по лестницам. Засинело перед старым неоклассическим зданием.

Витек напряг зрение, подобрался поближе, прячась за деревьями, и в отчаянье высматривал ту единственную фигурку, похожую на другие и вместе с тем неповторимо отличающуюся от всех поступью, осанкой и какой-то вызывающей неординарностью. Он провожал отчаянно вытаращенными глазами тех, кого ошибочно принимал за нее, и снова впивался взглядом в гущу толпы, возобновляя поиск. Опознавал поочередно, систематически, разграничивая толпу на секторы, ради того чтобы. наверняка избежать промаха вопреки незримой измороси, бремя которой ложилось на голову, спину, на плечи, пронизывало мозг, смятенное сердце, перехватывающее горло тревожное предчувствие.

Наконец показалась она, одна из последних. Она спускалась по лестнице, словно ясное солнышко. Небрежно придерживалась за руку Зузы и была совершенно иной, незнакомой, пришелицей с другого конца земли.

Витек вышел из-за каштанов, заступил дорогу, вернее, не заступил, просто стал посреди тротуара, ведущего к вокзалу. Тут и она остановилась, замерла на полушаге, остановив ступню в дюйме от ступеньки, как когда-то над гладью студеной реки. Они постояли так друг против друга, а вокруг лихорадочно бултыхался в грязи город, гремели по мостовой тяжелые фуры, задумчиво звонил церковный колокол, городской шум вздымался и опускался, как грудная клетка усталого человека.

Потом Алина что-то шепнула Зузе, и та сбежала боком с лестницы, деликатно отдалилась метров на двадцать, впрочем, не выдержала, остановилась у дерева и начала подглядывать.

А они шли навстречу друг другу. Она подкидывала коленом портфель с серебряными уголками, на которых осел густой налет сырости. Он поднял воротник форменной куртки, чтобы выглядеть фасонистей. Они шли навстречу друг другу очень долго. Он упорно не сводил с нее глаз, она косилась то влево, то вправо, мимолетно поглядывая на него рассеянно, безразлично.

Сошлись и остановились под каштаном, который чуть шевелил кончиками веток, словно онемевших от холода и непогоды.

— Зачем ты меня мучаешь?

— Я мучаю? Ты сам мучаешься.

— Взгляни на меня. Почему не хочешь на меня посмотреть?

— Ты сам себя мучаешь. Нашел себе забаву — самоистязание, да так и забавлялся с самого начала.

— Молено проводить тебя до поезда?

— Если хочешь.

Они пошли по улице, незаметно подымавшейся вверх. Миновали жалкий хедер, похожий на преддверие ада, поскольку училище помещалось в глубоком подвале. За грязными стеклами на уровне колен прохожих, за толстыми стеклами, забрызганными грязью и собачьей мочой, маячили согбенные спины учеников в черных халатах, мельтешили огоньки свечей, подобно осенним листьям березы. Доносились гортанные, диковинные звуки молитвы или псалмов.

С минуту поколебавшись, Алина произнесла несколько неестественным тоном:

— Я могу тебе все объяснить.

— Что объяснить? — спросил он недоверчиво.

— Эту игру твоих амбиций, гипертрофированного самовнушения, подсознательного подражания прочитанному или увиденным в

кино ситуациям, которые принимаешь за… за…

— За что?

— Сам прекрасно знаешь, за что.

— Боишься сказать: любовь.

— Ох, это громкое слово. Вряд ли я произнесу его когда-нибудь в жизни.

— А я не испугаюсь. Я тоже мог бы сдерживаться, подавлять в себе порыв, откладывать его на неопределенное время, скромно пасовать перед величием так называемых чувств. Но мне по плечу расточительность. Пожалуйста. Могу выстрелить и промазать по первому разу. Я знаю: придумал, вычислил, искусственно раздул. Что из того? Чем эта любовь хуже другой? И на чем та, иная, подлинная, настоящая, зиждется?

— Может, когда-нибудь поймешь.

— Никогда не пойму, потому что никогда не изменюсь. Буду всегда говорить с самим собой, буду всегда смотреть на себя со стороны, буду всегда, начиная, думать о конце.

— А я так не хочу.

— Взгляни на меня. — Витек вдруг остановил ее возле тележки мороженщика, к которой был привязан веревочкой намокший пес. — Ничего не видишь? Не видишь моей разбитой головы?

Только теперь он по-настоящему увидел ее

огромные глаза. Их радужные оболочки походили на коралловые атоллы, пленившие прозрачную морскую воду, сквозь которую просвечивало дно, заселенное таинственными разноцветными существами.

— Я разбил башку из-за тебя и ради тебя.

— Не болтай глупости, — вспылила она и пошла вперед. — Ты теряешь чувство юмора.

— Могу себе это позволить. Здесь нет свидетелей.

— Ты всегда боишься попасть в смешное положение. Будешь бояться до конца жизни.

— Откуда ты так хорошо меня знаешь?

Алина чуть повернулась к нему. Витек уловил, что она слегка улыбается.

— Ведь я умру молодой. Поэтому вижу больше, чем другие.

— Пожалуйста. Можем потолковать о чем-нибудь другом.

— Ты снова не был в гимназии?

— Не был.

— И чем это кончится?

— Наверно, чем-нибудь кончится.

Трое офицеров-кавалеристов шли навстречу, небрежно перегородив тротуар. Длиннополые шинели, как зеленые сутаны, почти касались

земли. Сабли, задевая серебристыми ножнами о шпоры, громко звенели. Поравнявшись с ними, все трое умолкли и впились глазами в Алину. Витек перехватил взгляд крайнего справа. Они сцепились глазами, Витек еще посмотрел ему вслед, и тот обернулся, недоумевая.

— Сукины дети, — проворчал Витек. Офицеры покатились со смеху, даже остановились у колоннады старинного особняка.

— Сукины дети, — повторил Витек и рванулся было к ним, но Алина придержала его за влажную руку и резко отдернула свою теплую ладонь.

— Только, пожалуйста, без глупостей. Очень этого не люблю.

Витек стоял, растерянно моргая. Из подворотни выскочила кошка и помчалась по улице, гремя привязанной к хвосту жестянкой от гуталина.

— Алина, чего тебе, собственно, надо? — тихо спросил Витек. — Что все это значит?

— Мне надо заглянуть в молочную. Зайдешь со мной?

Свернули в незнакомый Витеку закоулок. Он взял ее под руку, однако она мягко уклонилась, подумавши. Орда мальчишек бежала по деревянной брусчатке мостовой, частично уже сгнившей. Перед собой они катили заржавевшие печные

вьюшки, удерживая их на ходу проволочными крюками. Это были их запряжки, это были их гоночные машины.

— Ты хочешь, чтобы я сделал какую-нибудь глупость?

— Лучше не делать глупостей.

— Мне теперь безразлично.

— Ты что-то придумал и хочешь втянуть меня в эту игру.

— Я должен тебе доказать?

— Мне жаль твоего рвения. Все это не имеет смысла.

Витек придержал ее за руку. Они стояли у высокой стены, по которой сновали крупные черные муравьи. Где-то неподалеку в конюшне ржал жеребец, взбудораженный весной.

— Почему не имеет смысла?

— Я действительно умру молодой. Только никому об этом не говори. Я уже привыкла к мысли о смерти и готова умереть. Жду ее каждый день. Каждую ночь мне снится, что умираю. И это чудесно. Ибо я вступаю в мир, совершенно не похожий на наш, мир с другим временем, с другим пейзажем, где сплошные неожиданности, а люди вроде бы похожи на настоящих, но совершенно иные. Это мир глубоко волнующий, притягательный в

своей неизъяснимой сладости. И эту сладость я ощущаю так отчетливо, прямо физически, всем своим естеством от пальцев на ногах до корней волос, потом просыпаюсь, и сладость эта угасает во мне долго-долго, прежде чем усну второй раз на рассвете, чтобы увидеть во сне какие-то обрывки обычных, нелепых, досадных, очень земных событий. Это здесь, войдешь со мной?

Алина толкнула стеклянную дверь с муслиновыми шторками.

Они очутились в небольшой молочной с темным каменным полом, от которого тянуло холодом подземелья. Стояло здесь несколько круглых мраморных столиков на ржавых ножках из арматуры. У стены поблескивала шеренга оцинкованных молочных бидонов. На прилавке возвышалась глыба золотистого масла, в большой корзине из корней сосны лежали румяные булочки, называемые кайзерками, и могло показаться, что от них исходит ласковое тепло пекарни. В воздухе стоял кислый запах творога, смешанный с тем восхитительным ароматом свежего масла, которого теперь уже никто не помнит.

Витек задержался у дверей. Алина вернулась к нему со стаканом, наполненным белой жидкостью. Пила ее мелкими глотками, прищурясь, с

явной досадой.

— Может, это волшебный эликсир, который превратит тебя в добрую прорицательницу?

— Нет, это всего лишь козье молоко. Я должна пить его ежедневно, так придумал отец. Но часто стараюсь забыть.

— Сегодня вспомнила, чтобы навсегда соединить меня с козьим молоком.

Алина улыбнулась, рассеянно глядя в окно, за которым низко над землей мчались почерневшие от внезапного похолодания тучи.

— Возможно. Возможно, хочу, чтобы ты стал мне противен.

— Вижу, есть какая-то надежда, — прошептал Витек.

— Мне не надо верить. Я очень люблю врать.

— Это грех.

Она словно очнулась, мимолетно взглянула на Витека и снова пригубила молоко, пахнущее шерстью и дикостью.

— Да, это грех.

— Какая ты на самом деле?

— Ты же знаешь.

— Откуда мне знать?

Она отставила стакан на мраморный столик. Кончиком языка слизнула молоко с губ, к кото-

рым она словно бы постоянно прижимала цветы вереска.

— Ведь ты же за мной подглядывал.

Витеку, по всей вероятности, сделалось плохо, он зажмурился в ожидании развития событий. Но ничего не случилось, только скрипнула отворяемая дверь — Алина вышла на улицу. Сраженный наповал, он последовал за ней, а вокруг все сразу померкло, словно невзначай наступила ночь.

— Ты проводишь меня до угла Дворцовой, — произнесла она небрежно. — Только до угла, дальше не хочу.

Витек шел молча, отстав на полшага, и старался привести в порядок смятенные мысли. Небольшая толпа высыпала из подворотни, в которой помещался крошечный зал, где демонстрировались уцелевшие фрагменты старых картин.

— Ты слыхал, что будет война? — непринужденно спросила Алина. Она снова подбивала коленкой портфель. Он с мрачным упорством смотрел на ее ноги, которые вызывали у него нелепую нежность, но теперь, пожалуй, вызывали напрасно. — Почему молчишь?

Он молчал стойко, и она перестала обращать на него внимание. Так они дошли до улицы Дворцовой.

— Ну спасибо, пока, — сказала она, раскачивая портфель, который держала в обеих руках.

— Я могу, — откашлялся он, как чахоточный, — могу проводить до вокзала. Или не хочешь?

— Не хочу.

— Привет.

— Привет.

Алина торопливо зашагала прочь, ни разу не обернувшись. А он ждал с нелепой надеждой, что она передумает и бросится к нему с протянутыми руками, как темно-голубая птица, разбегающаяся для взлета в поднебесье.

И вдруг, испугавшись чего-то, отчаянно припустил вдогонку. Расталкивая прохожих, помчался вниз по Дворцовой, полной отзвуков близкого вокзала. Догнал ее возле торговца, разбиравшего товар на деревянном столе.

— Мы должны условиться о встрече, — зашептал он, тяжело дыша.

Она смотрела на него в замешательстве, ничего не понимая.

— Последний раз. Это очень важно.

— Ведь мы только что расстались.

— Да, но мне необходимо с тобой поговорить. Умоляю, буду ждать в шесть у твоего дома.

— У моего дома? — переспросила она, оттягивая

окончательное решение.

— Непременно. Умоляю. Больше никогда ни о чем не буду тебя просить.

— Как хочешь.

— Значит, согласна.

— Согласна. Но сейчас оставь меня. Обещай, что пойдешь назад.

— Ладно, обещаю.

Однако Витек сделал лишь несколько шагов и спрятался в подворотне. Какой-то немой дернул его за рукав и начал что-то показывать знаками. Но Витек продолжал высматривать знакомую фигурку с небрежно склоненной набок головой. Немой вытащил из-за пазухи голубя, который отчаянно захлопал крыльями. Показывал, что хочет продать птицу. Витек вырвал рукав из его дрожащих пальцев. Опасливо прижимаясь к стенам домов, устремился к вокзалу.

И тут вдруг увидал то, чего не хотел видеть, хотя и предчувствовал, что увидит. У круглого газетного киоска торчал со скучающим видом кузен Сильвек в штанах для игры в гольф и бархатной студенческой шапочке. Заметив Алину, он оторвался от стены киоска и вразвалку, не обнажая головы, пошел ей навстречу. Обнял девушку одной рукой, она привстала на цыпочки, и

он бесстыдно поцеловал ее посреди улицы, правда, Витеку не удалось разглядеть, куда поцеловал — в висок, глаза или в губы. Потом они уходили, долго, очень долго, собственно, до бесконечности удалялись в темную пасть вокзала. Заслоняли их чужие люди, заслонял ветер, благоухающий далекими лесами, заслоняли их жалобные вопли паровозов, блуждающих возле вокзала.

Витек присел на замшелую каменную кладку.

— Что случилось? — спросил самого себя рассеянно. — Собственно, что случилось? Наверно, я свихнусь. Так это кончится. Другого не дано. Все это идиотизм. Чистейший идиотизм. Может, я попросту уснул. Может, проснусь через несколько часов вполне здоровым?

И тут взревел по-ослиному клаксон. Неизвестно откуда и зачем пронесся по улице Дворцовой пан Хенрик на своем мотоцикле. Вскинул руку, приветствуя Витека, а тот снова принялся размышлять, что все это, вообще и в частности, значит и к чему приведет.

* * *

Она воровала, чтобы собрать на приданое. При загадочных обстоятельствах продолжительное время пропадали

из квартиры адвоката Мечислава Ч. различные ценности, в основном предметы накладного серебра и ювелирные изделия. Подозрение пало на приходящую прислугу Юзефу Комар. Но обыск, произведенный в ее квартире полицией, не дал никаких результатов. Через несколько дней Комар явилась в полицейский участок и чистосердечно призналась в содеянных ею кражах, совершать которые якобы подговаривал ее Франтишек Пигва. Пигва намеревался жениться на Юзефе Комар, а деньги, вырученные от продажи похищенных вещей, предназначались на приобретение приданого. В квартире Пигвы обнаружен портативный сейф, являющийся собственностью адвоката Ч.

* * *

Синяя туча, словно веко, закрывала половину багрового солнца, разбухшего к закату. И все вокруг побагровело, утихомирилось к ночи. С молодых влажных листочков свисали крупные капли с ядрышком багрянца внутри.

Витек стоял на краю расщелины, по дну ко-

торой некогда протекал ручей. Смотрел на знакомую виллу с кровавым блеском в окнах.

— Боже, сделай так, чтобы все было хорошо. Боже, который вездесущ, который где-то должен быть, во мне, в травах, в облаках или бесконечно далеких галактиках. Боже в трех ипостасях или в одной. Боже сущий или только нами воображаемый. Боже как высшая сила, логика вечности и судьба, Боже, дай мне ее теперь, и больше ничего не надо, ничего иного я не желаю, не вожделею. Боже, дай мне ее навсегда.

Почему-то вспомнились чаевые — пятьдесят грошей, которые он получил от нее за доставку телеграммы. Начал искать в нагрудном кармане куртки и ничего не нашел, обшарил другие карманы, ощупал потертую подкладку — монеты не было.

За сеткой ограды уже стоял пес-великан. Стоял недвижимо, даже не вилял хвостом. Присматривался к пришельцу налитыми кровью глазами.

— Это плохая примета, — сказал ему Витек. — Кто-то взял у меня талисман. Случилось нечто весьма скверное. Но ничего. Может, даже к лучшему. Начну все сначала.

Пес вздрогнул, однако не повернул головы. По щебню дорожки бежала Алина, бежала неизвест-

но откуда, словно из этой багряной мглы, ведь они же не слыхали стука отворяемой двери. Она бежала, откинув назад голову, и Витеку показалось, что кто-то хватает ее за пепельные волосы. Он взглянул на виллу. Одно окошко погасло. За холодным сизым стеклом, держась руками за раму, маячил, словно распятый, кузен Сильвек.

— Я немного опоздала, верно? — сказала Алина, переводя дух. — Надеюсь, не слишком заставила себя ждать? Привет.

И неожиданно коснулась его холодными, как трава, устами.

— Поскорей уйдем отсюда, не хочу, чтобы меня видели. Будут потом надоедать.

Она взяла его под руку, а он поискал пальцами то место на виске, где еще не оттаял холодок ее поцелуя.

Вошли в лес, истекающий сыростью.

— Ну, что ты мне хотел сказать? Умираю от любопытства.

— Я не могу так сразу.

— Насколько я тебя знаю, ты наверняка заранее основательно подготовился к разговору.

— Да, но сейчас все рухнуло. И я не знаю, с чего начать.

— Тогда подождем. Есть желание погулять?

— Обожаю прогулки. Ведь ничего другого мы не делаем.

Витеку показалось, что она сжала пальцами его предплечье. Краешком глаза он глянул на ее лицо, обращенное к нему.

— Для кого ты накрасила губы?

— Я накрасила губы? — Алина изобразила удивление и тут же резко отвернулась, чтобы он не заметил зарумянившихся щек.

— Для меня или для кузена?

— Для себя самой. Тебе не нравится помада?

— Не знаю почему, только мне не очень нравится.

— Ничего не поделаешь, придется мне это пережить. Зайдем в костел, что ты на это скажешь?

— Можно зайти, если не закрыт.

Он пропустил ее вперед. Она легко взбежала по ступенькам из валунов, скрепленных осыпающейся известью.

Потянула за дверную ручку. Дверь отворилась с протяжным стоном.

— Видишь, это хорошая примета, — тихо произнесла она, прижимая палец к губам.

— Откуда ты знаешь, что я ворожу?

— Должен ворожить, ведь и я постоянно ворожу.

— С каких пор? — спросил Витек, подходя к дверям.

Алина секунду раздумывала.

— Всегда.

Вошли в темный притвор, и Витек увидал в глубине нефа, под сиянием пресбитерия, два ряда горящих свечек.

— Тут кто-то есть, — шепнул он в ее горячее ухо.

— Ведь это же костел. Давай подойдем поближе.

Она нашла в темноте его ладонь. Держась за руки, они двинулись в глубь костела, который походил на просторный деревянный барак, построенный крестьянами или солдатами.

Между двумя рядами свечек возвышался постамент с открытым гробом. Мерцание свечей, которых спугивали порывы сквозняка, мешало разглядеть, кто в нем. Остановились в нескольких шагах от венков из хвои, пахнущих кладбищем и разверстой могилой. Рядом кто-то коленопреклоненный жарко молился.

— Хочешь подойти ближе?

— Не знаю. Мы и так близко.

— Боишься покойников?

— Можем подойти, если есть охота.

На цыпочках, чтобы не пробуждать скрипа половиц, обошли постамент. Алина так крепко стиснула его пальцы, что они онемели. Витек осторожно пошевелил ими, но она сжала сильнее. Где-то в стене, между массивными бревнами, проложенными мхом, время от времени принимались пиликать домашние сверчки.

Алина вдруг замерла. На мгновенье сквозняк унялся, свечи вспыхнули ярче, и Витек увидал прямо перед собой вытаращенные глаза старухи, словно она все еще видела приближающуюся смерть в белом саване, из-под которого торчит ржавая коса. Увидал распухшие руки на вздутом животе, по которому стекали черные капли четок. Увидал также отекшие ступни, на которые не налезали дешевые спортивные туфли, и поэтому кто-то разрезал их ножницами в подъеме.

— Не закрыли глаза.

— Подбородок тоже не подвязали. Взгляни, как ужасно оскалены остатки зубов.

— Вероятно, она умерла в одиночестве.

— Да, была совершенно одна, когда явилась смерть.

— Что тогда увидала, что подумала?

— Этого никто никогда не узнает.

— Может, когда-нибудь узнают.

— Может, когда-нибудь научатся избегать омерзительности смерти.

— Каким образом?

— Еще живыми будут уходить в мир иной.

— А потом будут сожалеть, что не умирали, и грустить о смерти.

— Не знаю. Нас уже тогда не будет на свете.

— А где мы будем?

— Тоже не знаю, зато знаю, что мы будем вместе.

Теперь он стискивает руку девушки, чуть влажную. Она осторожно, палец за пальцем, высвобождается из его руки. Перед алтарем, как глаз светофора, висит красный огонек лампадки.

— Давай вернемся, — тихо говорит Витек.

— Надо помолиться. За душу этой незнакомой женщины.

— Я ее откуда-то знаю.

— Может, встречал на улице или в лавке.

— Нет, пожалуй, я знаю ее по наитию.

Рука Алины дрогнула и снова отыскала его пальцы.

— Преклоним колена.

Они опустились на колени. Алина что-то зашептала торопливо, лихорадочно. Витек тоже хотел помолиться и начал «Отче наш», однако

вскоре запутался в словах, похожих друг на друга, не прочувствованных, не орошенных слезами, поэтому упорно возвращался к началу, чтобы спустя минуту снова сбиться.

Потом они вышли в лес, еще затопленный багровым заревом заходящего солнца.

— Зачем ты привела меня сюда?

— Не знаю. Как-то так получилось.

— Взгляни на свои руки, на лицо, на тело. Впереди у тебя очень долгий путь.

— Нет, мой путь уже завершается. Видишь, вот здесь, у этого куста крушины.

Алина поднимает ладонь, почерневшую от зарева. Оба глядят на эту ладонь, дрожащую, как птичье крыло. За их спинами звонит костельный колокол. Вначале неровно, неуверенно, затем частит, все быстрее и быстрее, словно моля кого-то о милости для души усопшей.

И тут Витек внезапно накрывает руку Алины своей, поворачивает ее к себе лицом и обрушивается губами на ее губы. Они сталкиваются зубами. Витек чувствует во рту солоноватый привкус крови. Слышит звон колокола и слышит в себе какой-то другой звон, который отдается в ускоряющемся ритме пульса, распирает грудь, виски, губы, губы, сделавшиеся удивительно огромны-

ми, губы, горящие, как обрывок юношеского сна. Она что-то говорит сквозь какой-то сладостно обжигающий мякиш. Может, жалобно стонет или плачет. Он прижимается к ней еще плотнее, оплетает плечи девушки руками, находит пальцами мелкие узелки позвонков и хрупкие полоски ребер, и вдруг она замирает, становится тяжелой, тянет его вниз. Они натыкаются на шершавый, влажный ствол дерева. Алина все еще в летаргическом сне. Витек отрывается от ее полуоткрытого рта. Она мертвенно-бледна, глаза зажмурены. Он хочет разбудить ее, инстинктивно сует руку в вырез платья и ощущает таинственную и удивительную мягкую округлость, пьянящее тепло, восхитительную шероховатость соска. Ощущает все то, что в былые времена потрясало каждого молодого человека.

Внезапно Алина вздрогнула, медленно подняла голову и взглянула на Витека странно, испытующе. Потом вынула его руку из теплого гнездышка за пазухой. Шатаясь, сделала несколько шагов, притронулась пальцами к вискам. Жалобный голос костельного колокола все еще разносился по лесу.

Алина двинулась в обратный путь через лес. Когда он сделал несколько шагов следом за ней,

она обратилась в паническое бегство.

— Алина! Что с тобой?

Она исчезла за деревьями.

Задетые ею кусты шевелились, осыпая землю внезапным дождем розоватых капель.

— Алина! Подожди!

Гонимый болезненным, жгучим предчувствием, он бросился вслед за нею, но ее уже нигде не было.

— Алина! Алина!

Колокол умолк. Отовсюду выползала тяжелая тишина ночи. И тут Витек заметил, что стоит рядом с деревом, о которое расшиб голову несколько дней назад. А внизу была долина, заполненная озером жидкого тумана. Витек преклонил колени к мокрой траве, принялся обшаривать раскисшую землю в поисках утерянной монеты.

— Если найду, все будет хорошо. Только здесь она могла выпасть. Буду искать до утра и найду.

— А если не найдешь? — спросил кто-то из сумрачной лесной тени.

Витек застыл на четвереньках, оперся о корни дерева.

— Это ты, Лев Тигрович?

— Я.

— Шпионишь за мной?

— Может, и шпионю. — Левка неторопливо спускался с обрыва, хватаясь за макушки елочек. — Проиграл пари, братишка.

— Какое пари?

— Да помнишь ты, не притворяйся. Мне причитается выигрыш. По выбору, верно?

Витек молчал. Какая-то птица пролетела низко между кустами. Откликнулись лишь деревья, откликнулись где-то вверху тихим шумом, похожим на вздох.

— О таких вещах нельзя заключать пари.

— Что с тобой? Чего ты такой серьезный? Раз проиграл — плати.

— Откуда знаешь, что проиграл?

— Все знают. Весь город об этом говорит.

— Нет, попросту ты за ней ухлестываешь.

— Я за всеми ухлестываю, когда есть время.

— Левка, не прикидывайся. Откуда ты тут взялся?

— Надеюсь, у тебя есть хоть немного чести. Будешь расплачиваться?

— Чем?

— Получишь три пинка в задницу.

Левка подошел еще ближе и стал позади Витека.

— Спятил ты, что ли?

— Мы поспорили, помнишь?

Витек машинально сорвал сухой стебелек, который, чуть качаясь, щекотал ему губы.

— Никому не скажешь о нашем споре?

— Я же человек чести.

— Тогда вали.

Левка поднял ногу, обутую в зимний ботинок, тяжелый и твердый, с пластинками для крепления коньков и подковкой. Дал пинка неожиданно, не жалея силы. Витек ткнулся носом в коврик зеленого мха, пропитанного студеной водой. Левка же с удивительным рвением подскочил к лежавшему и пнул его в бок. Витек почувствовал жгучую боль от удара, которую перекрыло еще более острое ощущение. Вскочил с земли, трахнул кулаком по едва различимой Левкиной голове. Завязалась драка в кромешной тьме, удары попадали чаще по кустам и нижним веткам деревьев. Наконец Витек, изловчившись, схватил противника за грудки и грохнул им о колючий ствол ели раз, другой и третий. Левка обмяк в его руках, сделался тяжелым, как мешок картошки. Витек отпустил надорванные лацканы пиджака, и Левка медленно съехал на землю, обтирая спиной ствол дерева. Витек принялся пинать эту сникшую тушу. Бил вслепую и, судя по

разлетавшимся ошметкам коры, не всегда метко. Тем яростнее дубасил он безмолвного приятеля, заваленного опавшей хвоей и шишками.

Снизу сквозь разлив тумана пробился приглушенный, хриплый свисток паровоза. Витек встрепенулся и увидал прямо перед собой, в глубине долины, вспыхивающую и гаснущую звезду, словно кто-то приближался издалека, неся карбидную лампу с маленьким зеленым язычком пламени.

— Лев Тигрович, — позвал он тихо, превозмогая одышку.

Левка лежал недвижимо, обхватив голову руками, и, казалось, спал, убаюканный монотонным колыханием высоких деревьев.

— Левка, не притворяйся. — Витек склонился над приятелем. Потрогал висок, тщетно нащупывая пульс, сбиваемый бешеным ритмом собственного пульса. — Вставай, слышишь. Напугать меня хочешь?

Принялся подымать неподвижное, неподатливое, непослушное тело. Наконец посадил у дерева. Хлопнул по щеке, дернул за волосы. Левка разинул рот и протяжно зевнул, открыл глаза.

— Что, пора вставать? — спросил. — Ах, мать твою, зуб шатается. Кто тут?

— Левка, это я.

— Погоди, погоди, что мы тут делаем?

— Ты выиграл пари и получил свою долю.

Левка помолчал минуту, прислушиваясь к перестуку колес поезда, который тонул в густом тумане где-то возле Новой Вилейки.

— Помоги встать.

Витек с опаской протянул руку. Боялся предательского нападения. Но Лева уже не жаждал мести. Он стоял на опушке и мерно покачивался, и не мог обрести равновесия.

— Боже милостивый, — причитал Лева, ощупывая избитое тело. — Ну и псих, до чего же взбесился. Может, собираешься свататься?

— Может, и посватаюсь.

— Витька, ты же ходячая хитрость. Что будет с твоим университетом, карьерой, успехами?

— Видишь, там, по ту сторону долины, звезду? Это моя звезда.

— Слабовато светит твоя звезда.

— Разгорится. Еще не настало время.

Лева ухватился за куст орешника, оплетенный мертвым вьюнком.

— А я шел на вечеринку. Пойдешь со мной?

— К кому?

— К Баумам. Ты все забыл. Они тебя ждут.

— Мне лучше вернуться домой. Голова болит.

— Что ты мне рассказываешь? Чтоб у тебя болела голова? Идем. — Он приблизился, шатаясь, схватил Витека за рукав, — Идем, я кое-чем запасся.

— И что же это такое?

— Вот, — Левка похлопал по нагрудному карману. — Приворотное зелье. Сегодня обязательно трахну. Только не знаю которую, Цецилию или Олимпию. Идем, один я не дойду.

Побрели вниз по склону сквозь заросли прошлогоднего, мертвого бурьяна. Из-под ног выскочил заяц и понесся зигзагами в темноту.

У Баумов стоял на столе патефон, принесенный сестрами-двойняшками. Все та же неизменная пластинка колыхалась на диске, выложенном зеленым сукном. «Так недавно был май, и мы счастливы были и так нежно любили, кто те дни оживить будет в силе…» Энгель и Олимпия кружили по комнате в замысловатом танго. Цецилия танцевала в одиночку, глядя в окно, старинная решетка которого была оплетена железными листьями акандуса. В руке она держала пузатый бокал с плодово-ягодным вином.

— Наконец-то, — сказала Олимпия, освобождаясь из объятий Энгеля. — Что с вами стряслось?

— Я искал его и нашел, — глухо произнес Леза. — Получайте своего ухажера.

— Выходит, теперь его надо сюда приводить силой.

— Лучше не спрашивайте.

— Он был там? — шепнула Олимпия, которая приблизилась к ним неторопливо, пританцовывая.

— Стоял на коленях и молился на небо.

— Идем, малыш. — Олимпия взяла Витека под руку. — Идем, выпьем эликсира забвения. Не бойся, завтра память вернется, а сегодня вечером тебе будет легко и хорошо. Ну идем, не упрямься, некрасиво капризничать, когда просят старшие, тем более дамы.

Олимпия подвела его к столу, где рядом с патефоном красовалась бутыль, оплетенная лозняком. Нацедила объемистый стакан и сунула ему в руку.

— Выпей залпом до дна, и тогда прозреешь. Увидишь ту же картину, только будет она гораздо красивее.

— Не хочу красивее. С меня хватит того, что есть.

Отворилась дверь соседней комнаты. Вошла Грета с распущенными, почти прозрачными

волосами, словно в светлой накидке.

— Выпей, Витек, — проговорила тихо. — Может, уже никогда не увидимся.

— Почему не увидимся?

— Ты знаешь. Я тоже выпью, первый раз в жизни.

Она высоко подняла полный фужер, отсвечивающий искристым багрянцем. Загляделась на эти искры, которые вспыхивали и гасли, когда она вертела свой сосуд под абажуром лампы. Потом вздохнула, как перед дальней дорогой, и поднесла фужер к губам.

— За здоровье прекрасных дам, — провозгласил свой первый тост Витек.

И проглотил холодный, сладковатый напиток, и удивился, что это такое простое, банальное, совершенно заурядное дело. И вероятно, показалось ему, что он мог бы вот так же запрокинуть бутыль и выплеснуть ее содержимое в себя, в свое сведенное болью сердце, в кишащую путаницу нервов, в терзаемую тупой болью душу.

— Каких прекрасных дам? — поинтересовалась Цецилия, сидевшая у подоконника и неотрывно созерцавшая тоскливую весеннюю ночь за окном.

— Всех дам, — ответил Витек и добавил без-

звучно: «И той, моей».

— Потанцуешь со мной? — сказала Грета.

Витек обнял ее за талию, с минуту покачался на месте, улавливая ритм. И медленно отправился в путешествие по комнате, полной косматых теней и мельтешащих вспышек, похожих на отблеск костра. Грета не выпускала из поразительно белых пальцев пустой фужер.

— Я уже прозрел… — прошептал Витек в ее волосы.

— А у меня в голове что-то шумит. Так приятно шумит. Как теплая вода в реке под вечер. 'Будь что будет.

Грета выпустила фужер из пальцев. Он упал на пол, но не разбился.

— А хотела разбить, на счастье.

— Чтобы разбился, надо швырнуть изо всех сил.

— Я не знала, что надо изо всех сил. Что же теперь будет?

— Наверняка будешь счастлива.

— Откуда ты знаешь?

— Мне кажется, мы все будем счастливы.

Грета помолчала, словно собираясь с духом.

— Не сердишься, что я тебя пригласила?

— Ох, какие ты говоришь глупости.

— Энгель велел мне танцевать.

— Самой не хотелось?

Она опустила голову, осыпав ему грудь белыми волосами, пряди которых пристали к сукну куртки и переплелись в причудливых узорах.

— Хотелось.

— Надеюсь, ты знаешь, что очень мне нравишься.

— Я знаю, что нравлюсь тебе, — прошептала она со вздохом.

Грета хотела еще что-то сказать, да передумала. Патефонный голос заунывно тянул: «Дай мне хладную руку свою и скажи, разве я не люблю? Но ответ предрешен — это был только сон…»

В другом конце комнаты Левка душил Олимпию в страстном танце. Она защищалась довольно энергично, когда же время от времени капитулировала, он волок ее из угла в угол, вопреки ритму, совершенно не в такт музыке, как зверь добычу.

В дверях показался старый Баум с серебряными очками на лбу.

– *Engelbarth, mein liber, es ist schon zu spät.* Энгельбарт, мой милый, уже очень поздно, — произнес он робко.

Между тем его первородный сын, не внемля голосу рассудка, продолжал кружить с Цецилией

в ритме медленного танго.

Пастор потоптался растерянно, потом открыл книгу, заложенную указательным пальцем, и вернулся к себе.

— Через месяц я уеду, — шепнула Грета.

— Что это за идея?

— Отец боится войны. Знаешь, я истовая, жуткая немка и вместе с тем уже не немка и никогда ею не буду.

— Это выше моего понимания.

— Рассудительные немки не пьют стаканами крепкие вина, и вообще…

— Что вообще?

— И вообще произошло много всего. Посмотри на Энгеля. Разве так выглядит приличный немецкий бурш? Он уже не немец, но никогда не будет и поляком.

— Какое это имеет значение?

— Ох, поймешь, если судьба когда-нибудь забросит тебя в далекие края.

— Знаешь, Грета, мне как-то скверно. В глазах рябит.

— И мне плохо. Выйдем на свежий воздух.

— Боже милостивый, до чего шатает.

— Я выпила впервые в жизни.

— Я тоже.

— Я представляла себе это иначе, лучше.

Придерживаясь за стену, они спускались по железной винтовой лестнице.

— Я не выдержу. Долго мы будем кружиться? — стонал Витек.

— Мы уже спустились. Выход там, — показала она на расплывавшийся в темноте витраж.

Они нашли дверную ручку, которая выскальзывала из рук, как холодная мышь. Толкнули дверь. Кто-то стоял на крыльце, освещенный лампочкой в проволочной сетке.

— Володко был в наших руках, — сказал мужчина в кожаном шлеме. — Оперативники уже выводили его. И вырвался в подворотне. Стрелять было невозможно — мешали прохожие.

— Пан Хенрик, вы? — спросил Витек.

— Да, я. Можно мне подняться?

Они посторонились, давая ему пройти. И он закрутился в витках этой ужасной лестницы, спотыкаясь о ступеньки, которые гремели, как пустая металлическая бочка. А они сбежали в сад, где среди кривобоких стволов лениво струился туман. Дом, оставшийся позади, напоминал старинный разбойничий замок. На круглых башенках жалобно скрипели жестяные флажки.

— Господи, еще хуже. Сейчас упаду, — шепнула

Грета.

Витек неуклюже обнял девушку, а она вздрогнула, как от озноба. Замерла в ожиданье.

— Почему молчишь?

— Подвожу итоги своей жизни.

— Это необходимо именно сейчас?

— А вдруг мы умрем от этого вина? Вдруг оно отравлено.

— Я никогда бы не позволила. Первая бы умерла. Слышишь вой волков?

— Это не волки, а собаки. В эту пору волки уже не молятся на луну.

— Ох, а я бы хотела помолиться.

— За кого или о чем?

— Да уж ладно.

Грета опустила голову. Где-то в ночи проезжала телега. Слышалось мерное повизгивание плохо смазанных осей, порой скрежетали ободья колес по утонувшим в грязи камням. Витек поддерживал поникшую девушку, и у него уже начинала неметь рука.

— Поцелуй меня, — шепнула она.

Он поднял ее голову, приложил губы к холодной щеке. Она снова вздрогнула, словно пересиливая себя. Витек поискал ее губы и поцеловал только в уголок рта. Она на мгновенье прильнула к нему,

хотя сделала это, пожалуй, лишь для того, чтобы его оттолкнуть.

— Не хочу так.

— Извини, — сказал он по-дурацки.

А Грета, резко повернувшись, побежала к дому, туда, где еще хрипел патефон, натужно вращая пластинку с песенкой об осенних розах.

— Она очень красива, — сказал себе Витек. — Ничуть не хуже той. Почти такая же грудь, почти такой же живот, почти такие же бедра. Почти. Что это со мной?

На лестнице у готического окошка отчаянно хрипел Левка. И выглядело это так, словно он с нечеловеческими усилиями штурмовал отвесную скалу, беспрестанно срывался и возобновлял свои отчаянные попытки. Было что-то пугающее в его стонах, в его исступлении, в его конвульсивных движениях.

— Левка, что с тобой? — спросил Витек не своим голосом.

Тот заголосил еще истошнее, вдруг впился во что-то, то ли поглощая, то ли разрывая в клочья, то ли заслоняя от людей. Витек разглядел рядом с готическим окошком размытую белизну женского лица, разглядел и оскаленные по-звериному мелкие зубы. Ощутил приступ удушливого

страха. Кинулся очертя голову наверх, упал, споткнувшись о ступеньку, и на четвереньках устремился в обитель Баумов, преследуемый предсмертными воплями Левки.

В гостиной еще танцевал Энгель, танцевал с Олимпией вальс в ритме танго. С его крупной головы, поросшей золотыми кудрями ангелочка и помеченной уже островками неизбежной лысины, стекали на глаза, подбородок, шею обильные капли горячего пота. Грета лежала на тахте, уткнувшись лицом в вышитую подушку. Техник-дорожник сидел у стола и сосредоточенно созерцал шатко вращающийся круг пластинки и серебристые иглы, рассыпанные вокруг патефона. Глядел задумчиво, исполненный достоинства и одновременно ослиной тупости. В руке держал почти опорожненный объемистый стакан, помнивший царские времена.

— Вы техник или полицейский? — спросил неожиданно для себя Витек.

Пан Хенрик вскинул голову, словно провожая взглядом летящую птицу. Однако зрачки его снова бессильно сползли и скрылись до половины в темных мешках, обычно придававших меланхолический оттенок его взгляду.

— Я несчастный человек, — пробормотал он.

— Все вам здесь завидуют, все вами восхищаются.

— А я несчастен. — Он передернул плечом, скосив взгляд куда-то в угол, словно узрел там нечто необычное, и добавил упрямо: — Несчастен, и все тут.

Сказав, призадумался над своим заявлением, что могло показаться и самоотречением, и некой разновидностью гордыни или каверзным вызовом.

Витек подошел к кушетке и осторожно коснулся плеча Греты. Та не подняла головы, но он знал, что она прислушивается в напряженном ожидании.

— Тебя мутит?

Она утвердительно кивнула головой, утопающей в подушке с немецким изречением. Пряди белых волос, как призрачные сталактиты, свисали над вишневым полом.

— Меня тоже тошнит, — тихо признался Витек.

— Очень хорошо, что я уезжаю, — пролепетала она.

— Ты же вернешься?

— Я никогда не вернусь.

— Ты пьяная, Грета. Слаба твоя немецкая го-

лова.

— О да, слаба моя немецкая голова. А ты ее очень любишь?

Витек оцепенел на мгновение. Энгель возился с оконной рамой. Наконец в комнату ввалилось облако промозглого тумана.

— Кого люблю?

— Ну, ее. Зачем притворяешься?

— Я не знаю.

Пан Хенрик стукнул с такой силой кулаком по столу, что патефон взвизгнул, словно от боли.

— Поди сюда, как твоя фамилия? — приказал он Витеку.

Пан Хенрик едва удерживал равновесие, пытаясь скрыть это, делал вид, будто раскачивается в ритме танго.

— Я окосел. Видимо, в вино долили спирта.

— Лева принес какое-то приворотное зелье.

Техник-дорожник попытался поднять голову, но это у него не получилось. Только с трудом закатил глаза, точно хотел взглянуть на собственный лоб, изборожденный суровыми морщинами.

— Зелье? Какое зелье? Может, выйдешь со мной в переднюю? Я тебе кое-что покажу. Говорят, ты медик.

— Еще нет.

— Но знаком с медициной?

— Немного, только по книгам.

— А у меня, черт побери, есть ненормальность. Тсс, ша, никому ни слова. Ни разу в жизни у врача не был. Зачем ходить, если сам знаю. Тихо, ша, ни гугу. Стыд не позволяет. Знаешь ли ты, что такое стыд, который по ночам спать не дает?

Витек налил из бутыли вина в стакан техника-дорожника.

— Какая ненормальность? — спросил безразлично, чтобы не спугнуть.

— Ишь ты, какой любопытный. Заинтересовался. Видно, любишь посмеяться над чужой бедой. А ты знаешь, что значит жить вне общечеловеческих законов? Представляешь, что такое быть чужим среди своих? Горб, страшное уродство и страх. Ох, мать твою…

Пан Хенрик высоко поднял стакан обеими руками и крепко сдавил его, даже надулись жилы на лбу. Рукава опустились, и Витек увидел его поразительно белые, почти голубые предплечья, лишенные волосяного покрова.

— В чем заключается эта ненормальность? — спросил он с испугом.

Техник-дорожник вдруг уронил голову на стол. Патефонная пластинка задевала поблескиваю-

щим ободком его кудлатые волосы.

— Сколько лет еще проживу, кто скажет? — бормотал он, смежая отяжелевшие веки. — Может, грянет война. Грянет, всех уничтожит и только меня пощадит.

Энгель все еще танцевал с засыпающей Олимпией. Потоки холодного воздуха из раскрытого окна раскачивали оранжевый абажур. Грета недвижимо лежала на кушетке.

И тут, крадучись, проскользнул в комнату Левка. Отвернувшись к стене, начал торопливо стирать что-то со штанов. На веснушчатом, костистом лице его застыла глуповатая усмешка. Олимпия очнулась, оперлась подбородком на плечо партнера.

— А где Цецилия? — спросила тягучим голосом.

Левка притворился, что не слышит. «Дай мне хладную руку свою и скажи, разве я не люблю? Но ответ предрешен — это был только сон…»

— Где Цецилия, оглох, что ли?

— Цецилия? Не знаю. Пошла домой.

— Одна? Без меня?

— Ну, пошла.

Пан Хенрик неожиданно вскочил из-за стола. От толчка стул опрокинулся на пол.

— Хам! Как смеешь! — крикнул он неестественно высоким голосом.

Зашатался, ища руками опоры. И тут в дверях своего кабинета возник старый Баум с той же самой книгой, заложенной опухшим пальцем.

– *Engelbarth, mein liber, es ist zu spät.* Энгельбарт, мой милый, уже поздно.

— А мое положение совершенно безнадежное, — тихо молвил Витек в сторону окна, за которым подымалась до самого неба пелена редеющего ночного тумана.

* * *

Кровавая любовная драма. В воскресенье, около двенадцати часов дня, возле больницы Красного Креста разыгралась любовная трагедия. При больнице имеются курсы сиделок. Там училась Мария Еленек, которую на занятия провожал Стефан Карпп, служащий. У самых дверей больницы Карпп внезапно выхватил револьвер и нацелил оружие на Еленек. Грянули два выстрела. Обе пули попали в грудь женщине, которая упала на мостовую. Затем убийца приставил револьвер к собственной груди. И снова два

выстрела. Карпп пал рядом с Еленек. На звуки выстрелов выбежали из больницы сиделки во главе с начальницей, а также часть персонала из соседнего Института глазных болезней. Врач констатировал у обоих крайне тяжелое состояние. К месту происшествия прибыла полиция, начато следствие. В кармане Карппа обнаружена записка: «Я убил и самоубийство совершил сознательно. Делаю это потому, что Мария Еленек порвала со мной».

* * *

Грета медленно шла то ли в длинной белой рубашке, то ли в шелковом подвенечном платье. Шла босая, не касаясь ступнями земли, всего на дюйм над травой, поблескивавшей в ослепительном свете луны. Потом медленно повернула голову, изменила направление своего движения, все более приближаясь к окну, и Витек почувствовал на себе ее взгляд, и неизвестно почему ужаснулся и в панике проснулся с болезненным вздохом.

Сперва узнал собственную кровать, скомканную постель, никелированные шары, венчающие решетку изголовья. А потом увидел у комода

мужчину, когда-то спрашивавшего про каменную гимназию и показавшего ему дерево, на котором повесился отец. Незнакомец, как и тогда, был в коротком пальто, сшитом из чудной ткани, словно бы пропитанной дождевой водой, и в черном кожаном картузе, поблескивавшем теперь в изумрудных отсветах полной луны.

— Что? В чем дело? — воскликнул придушенным голосом Витек.

Незнакомец неторопливо обернулся и приложил палец к губам.

— Не вопи. Мать разбудишь. Страшная луна сегодня. Слышишь, как стучит у меня сердце?

— Что вы здесь ищете?

— Тоска меня привела. Очень скверно себя чувствую, что-то ужасно болит, сам не пойму, что именно. Я долго был молодым, может, даже слишком долго, и вдруг как-то среди ночи, во время ерундовой болезни — то ли ангины, то ли тонзиллита — в приступе бессмысленной паники обнаружил, что уже стар. С того момента я чувствую *себя* старым. Тебе этого не понять, поскольку ты еще не знаешь, что значит чувствовать себя стариком.

Витек встал с кровати, накинул на плечи холодное и скользкое покрывало.

— Почему вы роетесь в нашем комоде?

— Ищу удостоверение отца.

— Чьего отца?

Незнакомец словно бы прикидывал, как ответить. Включил свой странный фонарик, осветил недра комода, давно изъеденного древоточцами.

— Ну, твоего отца. Орденское удостоверение. Может, помнишь, за воинскую доблесть, проявленную на литовско-белорусском фронте. Такой бланк, отпечатанный в полевой типографии, с корявым текстом, смазанным шрифтом и с размашистой подписью генерала Шептицкого.

— Было что-то такое, да тут один хлам и старые фотографии.

— Да, решительно не могу найти документов времен немецкой оккупации, трудовой книжки арбайтсамта, удостоверения личности, партизанской справки.

Витек подошел к комоду и встал рядом с незнакомцем. Яркий луч света ощупывал недра выдвинутого ящика.

— Я никогда не видел этих бумаг. Зачем они вам понадобились?

— Да, ты прав, их еще нет. А меня почему-то тянет ко всей этой макулатуре. Почему здесь нет фотографий отца?

— Не знаю, была одна фотография, для паспорта.

— А куда делись другие? Может, мать уничтожила? Вероятно, боялась, пугало ее присутствие отца.

Незнакомец перебирал длинными пальцами с обкусанными ногтями блеклые ленточки, рассыпающиеся пучки лекарственных растений, сломанные брошки, пожелтевшие метрики, сморщенные горошины, пестрые птичьи перья, коробочки от пудры «Коти», еще какой-то хлам, давно потерявший форму, цвет и смысл.

— Настали для меня плохие времена, пожалуй, хуже не бывает. Все вдруг слиняло, смазалось, померкло. Ничего не жду, и ничто не ждет меня. Впрочем, нет, уже начал ждать смерть. Слишком рано, впрочем, и вся жизнь отшумела слишком рано.

— Вот фотография отца, — перебил незнакомца Витек.

Тот взял со дна ящика маленький картонный прямоугольник, вытер его о полу пальто, которая была сухой, хотя и выглядела как мокрая. Направил на фотографию яркий луч фонарика.

— Видишь, обыкновенное лицо, полно таких на улице. Я его абсолютно не помню. Был ли он

добрым, великодушным, приветливым? О чем думал, о чем грустил, кого любил по-настоящему? Может, тебе удастся припомнить?

— Никогда не задумывался.

— Когда-нибудь ты затоскуешь об отце. К его смерти будешь возвращаться неустанно. И в конце концов покажется тебе со всей очевидностью, что ты присутствовал при его расставании с жизнью. Что видел, как покидает его жизнь и с последней частицей ее он уходит в небытие.

Луна выплыла на простор оконного стекла. И была эта луна колдовская, которую никто еще не затоптал и не замусорил. Она манила людей, страдающих бессонницей, контурами неизвестных континентов и неизведанных океанов.

— Зачем вы к нам приходите? Откуда вы приходите? — тихо спросил Витек.

— Я же не внушаю тебе страха, верно? Может, я призрак, который никого не пугает и лишь самого себя морочит, ища смысл в бессмыслице? Что бы я ни сказал, все равно не удержу тебя, не изменю твоего пути, не отвращу твоей судьбы. А если бы далее и в чем-то помог, в конце пути ты проклянешь свою жизнь, как все. Ибо кончается эпоха благостных, полных самодовольства и *елея,* аппетитных биографий. Твое поколение

расстанется с жизнью в суматохе, с чувством неудовлетворенности и внутреннего разлада.

— Сейчас меня совершенно не волнует мое будущее. В данную минуту я хотел бы заполучить Шапку-невидимку.

— Тогда бы пробрался к девушке, которую, как тебе кажется, ты любишь. Это та, с длинной черной косой, Реня или Муся, она погибла потом при бомбежке? Нет, погоди, пожалуй, не погибла, а через Литву уехала в Швецию, где след ее затерялся.

— У нее нет длинной черной косы. И зовут ее Алина.

— Тебе хотелось бы в шапке-невидимке сопутствовать ей постоянно, каждую минуту, каждую секунду, ласкать ее взором, внимать ее дыханию, прислушиваться к ее грусти, мысленно касаться ее груди, уст, горячего лона. Так сильно заболел?

— Жутко. Мечусь без причины и не могу найти себе места. Что-то томит, и я не в силах с этим совладать. Смертельно заболел впервые в жизни.

— Я возьму фотографию отца.

— Берите.

— У него были такие же волосы, как у тебя? Темные, с багровым оттенком, устремленные ввысь. Не провожай меня, я знаю дорогу.

Незнакомец протянул руку и на ощупь двинулся в кухню, а оттуда в прихожую. Витек шел за ним, затаив дыхание. Незнакомец поскользнулся на лестнице из потрескавшегося песчаника.

— Это к счастью, — сказал он. — Хотя счастье мне уже ни к чему.

— Даже в смертный час пригодится немножко счастья.

— Ты прав, хотя еще не понимаешь, что говоришь. Но твоей привилегией будет способность формулировать глубокие мысли, которые позже, невзначай, в наименее подходящие моменты весьма ощутимо подтвердит жизнь.

Небо над Верхним предместьем сделалось бирюзовым, близился рассвет. В ажурных кронах деревьев загомонили веселые воробьи. Незнакомец открыл калитку и ступил на тротуар. Густой, холодноватый свет луны лег тяжелым бременем на его кожаную кепку, на сутулую спину. С минуту он раздумывал, в какую сторону идти. Глянул на колокольню костела в объятьях черных елей, глянул в глубь долины, откуда мчала к городу запыхавшаяся река. И побрел песчаной, дикою тропой, которая вела всюду и никуда.

В доме вспыхнул электрический свет. Мать пересекала кухню в ночной рубашке и наспех

наброшенном вязаном платке. Щурила заспанные глаза.

— Это ты? Так поздно возвращаешься домой?

— Нет, я уже спал. Меня разбудил призрак.

— Что ты выдумал, сынок? Какой призрак?

— Взгляни, мама. Он идет вон там, среди деревьев, у Левкиного дома.

— Никто там не идет. Сейчас развиднеет. Бесишься целыми днями, потому и спишь тревожно.

Мать стояла возле него, дрожа от холода. В лесу возле костела пронзительно закричала птица.

— Я уже второй раз видел настоящего призрака, — тихо произнес Витек.

— И говоришь это так спокойно.

— Ведь он пугает совсем не страшно.

— В мое время были настоящие призраки.

— Этот тоже настоящий, правда, какой-то меланхоличный и, собственно, ничего не требующий от живых.

Мать потянула носом, замерла в ужасе.

— Ты пил водку, Витек? Пречистая Дева, уже началось. Умоляю, сынок, опомнись, пробудись от этого ужасного кошмара. — Она хотела схватить его за руку, но он досадливо вырвался.

— Это ты, мама, взяла у меня пятьдесят гро-

шей?

— А зачем носишь деньги в кармашке, куда я положила крошку хлеба, освященного в храме святой Агаты?

— Ношу на счастье.

— Уж я знаю, какое это счастье.

— Отдай, мама. — Витек шагнул к ней.

Она попятилась в испуге, придерживая платок на груди.

— Не отдам никогда. Нет уже монеты. Я бросила ее ночью в реку.

— Стыдно предаваться суеверьям.

— Ради твоего же блага, сынок, — говорила она, неуклюже семеня впереди него. — Ты должен быть сильным, тебе нельзя падать, иначе никогда не подымешься.

— Мама, я сам построю свою жизнь, — шептал он сердито, шагая следом за ней, а она прямо на глазах съеживалась, превращаясь в сухой комочек одержимости. У соседей заголосил петух, провожая уходящую ночь.

И тут заскрипели пружины кровати в боковушке. Дед зашелся раздирающим до печенок кашлем, потом долго сплевывал, с трудом освобождаясь от тягучей мокроты.

— Всю ночь ходят, разговаривают, обделывают

делишки, а я ничего не знаю, никто со мной не делится, — хрипел он плаксиво. — Когда наконец пройдет эта проклятая ночь?

* * *

В те годы никто не хотел быть молодым. Молодость была чем-то постыдным, неполноценным, несуразным. Молодость была словно кара бытия или чистилище, к которому приговорили авансом.

Это были времена кривых ног, что почему-то называлось английской болезнью. Это была эпоха рябоватых лиц, о которых говорилось, что черти на них горох молотили. Это были времена щербатости, и никого не ужасали рты, полные почерневших корешков.

Люди тогда носили горбы, влачили усохшие ноги, мирились с бельмом на глазу, плевали чахоточной мокротой, гнили заживо от сифилиса, задыхались от астмы, обрастали расширенными венами от каторжного труда, их крючило от воспаления суставов. Это были великолепные времена, населенные безобразными людьми.

Тогда презирали молодость. Еще никто ее не украсил, не одухотворил, не продлил до смерти. Еще никто не научил молодость агрессивности,

хищному суперменству, повальному стремлению переть напролом. Молодость еще не ведала, что она особая биологическая категория, некая общественная формация, что она уникальное привилегированное государство в государстве будничного бытия.

В те годы взрослые ходили, держась прямо, спесивые и достойные почитания. Они требовали к себе уважения, любви и полнейшего доверия. Им еще не приходилось прятаться по углам, уступать дорогу или рядиться и гримироваться под молодых. Вдобавок они до того зазнавались, что подавали руку для целованья. И молодые целовали руки матерей и отцов, теток и дядьев, ксендзов и директоров, лавочниц и артистов. С величайшей серьезностью и послушанием чтилось верховенство взрослых.

Каждый мальчишка, подросток, юноша старательно скрывал свое биологическое состояние, тщательно затаивал стигматы незрелости, ибо жестокие взрослые принуждали их носить унизительные атрибуты верноподданничества: короткие штанишки, матросские воротники, прически, называемые «челкой», длинные чулки на резинках, зимние шапки, завязанные под подбородком, варежки, скрепленные длинной

шерстяной тесемкой, «чтобы не потерять». Поэтому каждый мальчишка мечтал о дне, когда получит аттестат зрелости, ибо только тогда будет ему дозволено одеться, как все люди. В нормальном костюме, в демисезонном пальто, в шляпе и с тростью в руке ему будет разрешено притеснять тех, кто моложе.

Поэтому величайшим счастьем для них было, обманывая бдительных стражей, переодеваться взрослыми. Скольких ухищрений стоило раздобыть потертый котелок, сколько усилий затрачивалось на то, чтобы вынести из дома отцовские брюки навыпуск, сколько радости доставлял украденный всамделишный галстук. Какое счастье испытывали счастливчики, у которых рано пробивались усы.

А потом, вдруг, неизвестно как и когда, победила молодость. Молодость, свободная от уродств, болезней и безобразности. Самовлюбленная молодость. Молодость, исполненная презрения к немолодости. Молодость прекрасная и долговечная. Молодость с рассыпающимися кодами поврежденных генов.

* * *

Витек шел по вагонам, заглядывая во все купе. За окнами сыпались с неба хлопья нежданного снега, крупные, как птичьи перья. Снег водянистой тяжестью ломал легкомысленно вымахавшие травы и улыбчивые цветы. Стекла заросли толстым слоем пара.

Витек шел, теряя остатки надежды. Всюду на него с любопытством и издевкой поглядывали гимназисты, ибо это был один из тех пригородных поездов, которым ездила молодежь местечек, железнодорожных поселков и мелких усадеб, разбросанных вдоль магистрали. Умолкали на секунду и провожали взглядом чужака, который мозолил глаза своей фуражкой, расшитой разноцветными нитями, фуражкой, предвещавшей скорую свободу. Вдогонку неслись ехидные замечания и недружелюбные смешки, а он, упрямо стиснув зубы, пробивался сквозь толщу унижений.

Наконец Витек увидал Зузу, сидевшую среди военных, уже немолодых, загорелых унтеров. Она читала томик с черным венком национальной библиотеки на белой обложке. Он отодвинул неподатливую дверь. Военные взглянули на него

без особого любопытства. Зуза читала прилежно, насупив густые, черные, почти мужские брови.

— Извините, — тихо произнес Витек.

Зуза не расслышала: поезд, как всегда на этом месте, резвее покатил под гору.

— Здравствуйте, панна Зуза, — сказал он громче. Оторвавшись от книги, она взглянула удивленно.

— Вы можете выйти со мной в коридор?

— Пожалуйста, тут хватит места.

— Нет, благодарю. Только на одно слово.

Она досадливо захлопнула книгу и вышла с ним. Вагон закачался на щербатых рельсах. Они схватились за бронзовый поручень, настывший и влажный.

— Слушаю вас?

Витек увидел вблизи ее смуглое лицо с пронзительно голубыми глазами — такие лица были у многих девушек в тех краях.

— Я хотел бы знать, что случилось с Алиной.

— С Алиной? — переспросила она, словно не понимая.

— Я не вижу ее несколько дней, а у меня к ней дело.

— Так это вы ее разыскиваете ежедневно? Обходите вагоны, как заправский кондуктор.

— У меня неотложное дело. Я дал ей книгу, которая теперь мне нужна.

Зуза взглянула на него испытующе. Поезд замедлял ход, приближаясь к станции.

— Зайдите к ней. Кажется, она лежит простуженная.

— Вот как? А я не знал. Зайду, разумеется.

— Видите, как все просто.

— Простые решения редко приходят мне в голову.

Зуза нарисовала пальцем на затуманенном стекле сердечко.

— Действительно речь идет об учебнике?

— Вы мне не верите?

Она стерла со стекла рисунок.

— Я думаю, ее родители будут недовольны.

Витек с трудом проглотил слюну.

— А она?

— Пожалуй, вам лучше знать.

— Уже слишком поздно.

— Что поздно?

— Теперь мне уже все равно.

Поезд остановился на станции. Жалобно заныли отпущенные тормоза. Зуза и Витек выскочили на платформу, устланную небывалым, словно бы фосфоресцирующим снегом.

— Не ходите к ней, — быстро проговорила Зуза.

— Почему?

— У меня предчувствие. А мои предчувствия всегда сбываются.

— Теперь уже слишком поздно.

— Я вам добра желаю. Послушайтесь меня.

— Теперь уже все равно.

Она хотела вроде бы еще что-то сказать. Снежинки густо облепляли ее черные волосы, ресницы, мясистые, словно припухшие губы. Она вдруг резко повернулась и побежала вдоль железнодорожного полотна, а Витек спохватился, что до сих пор не знает, где она живет.

— Кого ты все ищешь? Что с тобой творится? — раздалось у него за спиной.

Паровоз с высокой трубой и красными колесами безнадежно свистнул, забуксовал. В окнах двинувшихся со скрежетом вагонов теснились гимназисты. Для них любая остановка была неосуществившимся приключением.

— Сами знаете, кого ищу. Зачем притворяетесь? — сказал Витек и мстительно плюнул на девственный снег.

Энгель и Грета горбились, прикрывая головы портфелями в вытянутых руках. Энгель пытался

сдуть с кончика носа каплю.

— Витек, ты обалдел, попросту рехнулся. Чисто математически, умозрительно сконструировал нечто, вообще не существующее. Это же ненормально. Какая-то самоубийственная мания.

Энгель умолк, напуганный собственным высказыванием.

— Извини меня, ляпнул вздор. Я не имел в виду ничего плохого.

— А может, это и есть тяга к самоубийству? — с вызовом сказал Витек. — Может, так и должно быть?

— Пошли, — сказала Грета. — А то снегом занесет.

Они побрели, не глядя друг на друга, а пороша сочно хрустела под ногами.

— Зачем провожаете? Сам дойду, — буркнул Витек.

— Приходи к нам. Позубрим вместе. Будет веселее, — предложил Энгель. — Ведь когда-то ты просиживал у нас целыми днями.

— Помнишь, даже дрался со мной однажды, — добавила Грета и посмотрела на белые пригорки, по которым сновали вороны с тревожным карканьем.

— Я с тобой дрался?

— Да, очень давно. И все же я помню.

— Витек, а как с экзаменами? — спросил Энгель.

— Плевал я на них.

С минуту шли молча. Снегопад постепенно стихал. Откуда-то из-за облаков медленно пробивалось солнце. Побелевшие холмы засияли, как сахарные головы, подсвеченные электрической лампой. Грета робко приблизилась к Витеку.

— Я навестила тебя прошлой ночью. Ты знаешь, что я лунатичка?

— В этом тебя тоже убедил Энгель?

— Я видела тебя во сне. Ты лежал поперек постели с закрытыми глазами и кричал.

— А может, ты видела призрак, которого я встречаю?

— Нет, это не дух умершего, это дух живого человека.

— Грета, ты же знаешь, что ты мне очень нравишься.

— А я не хочу тебе нравиться.

— Ты должна ехать в Баварию. И тебе не на пользу эта страна.

— Хочешь, чтобы я уехала? — И в ее глазах показались обильные немецкие слезы.

— Ох, ничего я не хочу. Ничего теперь не же-

лаю, оставьте меня в покое, отвяжитесь.

Брат и сестра в недоумении остановились у почты, водосточные трубы которой гудели от талой воды. Витек, не оглядываясь, одержимо шагал к своему громоздкому, слоноподобному дому, чьи деревянные пристройки нависали над улицей.

— Мы ждем тебя! — крикнул еще Энгель. — Можешь вернуться в любую минуту!

Витек вошел во двор. Откуда-то из садов устремился к нему гигантскими прыжками кот-бродяга.

— Магараджа?

Кот остановился и мяукнул робким, пискливым голосом.

— Что с тобой творится, Магараджа?

Кот подбежал, подхалимски выгнул спину. Принялся карабкаться по штанине Витека, вонзая до кожи острые крючки когтей.

— Никому ни слова. Я стащу у пана Кежуна телеграфный бланк и отнесу весточку моей девушке. У меня есть девушка, только это тайна, и ты ее не разглашай.

Витек гладил поразительно тощую спину кота в проплешинах и шрамах от вечных драк, а доблестный Магараджа ласково мурлыкал. Кот забрался к нему на руки, замурлыкал громче,

в горле заклокотало, словно там вибрировала пружина.

— Видишь, как забрало твоего хозяина? Скрутило, прямо дошел до ручки. А знаешь ли ты, что я не смог бы тебе даже ее описать? Клянусь — не помню, как выглядит. То есть припоминаю отдельные черты. Волосы похожи на твою шерсть, когда ты был маленьким, глаза тоже, пожалуй, кошачьи, зеленые или коричневые, как мякоть сосновой коры, или голубые, как дым, ибо у иных котов, особенно аристократичных и овеянных тайной, глаза походят на дым, стелющийся по небу. Кожу ее помню, хоть и не могу описать. Она такая, что хочется к ней прикоснуться, и лучше губами, кожа теплая и одновременно прохладная и светится, как мед на летнем солнце. А целиком увидеть мою девушку я не могу, хоть и очень этого желаю. Вру я тебе, Магараджа, ведь именно в целом, всю, я прекрасно вспоминаю ее, и вспоминаю с ожиданием, с внезапным замиранием сердца, с болью и нечаянной радостью. Меня куда-то гонит, и я не знаю, где конец у этого беспредела, заполненного мукой, блаженством, осиянным грустью.

Потом он удрiрал от матери, которая выбежала за ним на крыльцо. Странные и жуткие лучи

света пронизывали холодный воздух, как перед Страшным судом.

— Доешь по крайней мере обед! — истерически кричала мать. — Помни, ты родился в рубашке! Что ты делаешь? Какая нечистая сила гонит тебя из дома?

Звякнули отворяющиеся окна у сестер-двойняшек. Цецилия и Олимпия, неодетые, со всклокоченными волосами, с любопытством высовывались из окна, чтобы разобраться, кто от кого бежит. А Витек уже мчался по скользкому и мокрому тротуару вниз, к лесу, напоминавшему о себе торжественным гулом.

— Левка, задержи его, ради Христа! — хрипло кричала мать.

По улице, ведущей к костелу, ехал в пролетке Лева. Он сидел на козлах рядом с озябшим извозчиком, держа в одной руке вожжи, а в другой огромный кнут с красным помпоном. Поперек сиденья лежал отец Левки, старик Малафеев. Ноги, обтянутые бархатными гетрами, упирались в откинутый верх экипажа, клетчатый пиджак расстегнулся, демонстрируя мятую, в пятнах рубаху-косоворотку. Панама, вернее, старая, заношенная до черноты шляпа сиротливо каталась по полу пролетки. Усы и борода Малафеева свер-

кали прозрачной сыростью и походили на пучки речных водорослей, вмерзших в лед.

— Приходится за ним присматривать, — сказал Левка, соскочив с козел. — Особенно когда он пьян. Видишь, черти снова хватают его за глотку.

Старик Малафеев поискал руками опору, увидал свалившуюся шляпу, хотел ее поднять и рухнул на прогнившее дно пролетки. Вероятно что-то припомнив, он затянул церковным басом:

Ты скажи, говори,
Как в России цари
правят.
Ты скажи поскорей,
Как в России царей
давят.

— Эх, была не была, — сказал Левка и наклонился к Витеку. — Ты ничего не знаешь. И держи язык за зубами. Я за отцом слежу потому, что он, убегая из Петрограда, привез сюда клад и где-то зарыл. Правда, говорит, что забыл место, да я ему не верю. Жду, когда скажет, должен сказать, верно? Во сне, по пьянке или в горячке.

От длинных, взлохмаченных ветром волос Лев-

ки исходил дух овчины и касторки.

Как капралы Петра
Провожали со двора
тихо.
А жена пред дворцом
Разъезжала верхом
лихо.

Малафеев снова вскарабкался на линялое сиденье пролетки. С закрытыми глазами уважительно прислушивался к своей залихватской песне. Извозчик мирно дремал на козлах, покачиваясь на все стороны.

— Левка, а что у тебя было в ту ночь с Цецилией? — тихо спросил Витек.

Юный Малафеев высморкался двумя пальцами, оглядел холмы, на которых уже не было снега.

— О чем думаешь, то и случилось. Ух, настоящий рай, — вздохнул он хрипло. — Русский рай, польский, еврейский. Все вместе взятые. Пока сам не попробуешь, не узнаешь, что такое жизнь. Эх, лучше не напоминай. Мне бы только дорваться до золотых рублей, ничего другого делать не буду. Ох, посадить бы всех шалав на кол.

Витек ощутил неприятный холод. Левка та-

ращил глаза на небо, а там из рваных облаков изливался отраженный свет удивительных оттенков.

— Вернись! Вернись! — долетел откуда-то снизу жалобный голос матери.

Левка вернулся к кособокому экипажу. Внезапно хлестнул кнутом отца по ногам в бархатных гетрах.

— Где твое золото? Мне надо много золота, понял?

Старик, впрочем не такой уж старик, Малафеев поджал ноги и заревел, словно из глубин естества:

Как курносый злодей
Воцарялся на ней,
горе.
Но Господь русский Бог
Бедным людям помог
вскоре.

— Левка, ты пил? — спросил Витек. — Ты ведь пьян.

— Потому что отца ударил? Да я легонько его, чтобы очухался. Он когда-то бил людей сильнее. Не беспокойся, я знаю, что такое сыновняя лю-

бовь. Мне бы найти рублики. А почему кричит твоя мамаша? Ты тоже ее приструнил? А может, она ревнует?

На крик матери лес откликнулся зычно. Посыпались тяжелые капли, поблескивая на лету разноцветными искрами.

— Я тоже откопаю свое золото, — шепнул Витек. — Настал мой черед.

— Идешь подкапываться под виллу полковника? — язвительно ухмыльнулся Левка. — Помогай Господь русский Бог.

Он вскочил на козлы, шлепнул тяжелыми, отсыревшими вожжами по провисшему хребту лошади. Пролетка потащилась вниз по Костельной. Старик Малафеев каким-то чудом встал на ноги, собрался крикнуть или завыть, но вдруг зарыдал и плюхнулся на сиденье.

Витек сошел на тропу, которая кралась зигзагами в глубину леса. Остановился у оттаявшего островка. Вытащил из теплого кармана телеграмму, расправил на ладони. Мелкие, суматошные каракули вопили между мертвыми линейками официального бланка: «клянусь тебе в вечной любви точка жду». И тут с макушки дерева сорвалась талая капля и разбилась на бланке. Витек подождал, пока бумага впитает пахнущую хвоей

влагу. Аккуратно сложил телеграмму и края скрепил белой маркой, украшенной изображением почтового рожка. Взглянул на небо, но неба не увидал, ибо его загораживали качающиеся ветви елей. И бросился бежать по крутому лесистому склону напрямик.

И снова та же горничная повела его от калитки к вилле, где уже оживал дикий виноград. Но пса не было, он не трусил рядом и не держал, как тогда, руку гостя в зубах.

— Может, вам лучше отдать мне телеграмму? — неуверенно предложила девушка.

— Почему? Барышня должна расписаться, — вспыхнул Витек.

— А у вас глаза блестят. Вы больной разносите телеграммы?

— Я не разношу. У меня только одна, для Алины.

Горничная остановилась на нижней ступеньке крыльца.

— Пожалуйста, отдайте мне. Я ей наверняка передам, — произнесла она тихо, поглядывая на стеклянную дверь парадного входа.

— Я должен сам. Это очень важно.

— Как хотите.

Дверь распахнулась неожиданно. В глубине

дома от сквозняка загремели, как выстрелы, захлопывающиеся окна. На пороге возник полковник Наленч в расстегнутом мундире.

— Депеша для барышни, — доложила горничная.

— Я приму, — хмуро произнес полковник.

— Я должен передать лично адресату. — Витек хотел попятиться, однако Наленч сделал шаг и схватил дрожащими пальцами краешек телеграммы.

— Я сказал, что приму.

— Панна Алина должна расписаться.

На втором этаже залаял Рекс, послышался какой-то шум, и затрещала дверь, словно срываемая с петель.

– *Restes dans ta chambre, compris?* [xiv] — крикнул полковник, а потом спокойно, хотя и с угрозой, добавил: — Я распишусь. Этого будет вполне достаточно.

— Не имею права отдать, в самом деле, это же лично для панны Алины.

— Пусти! — выкрикнул с яростью Наленч. Витек машинально отпустил бумагу.

На ступеньках в холле возникла мужская фигу-

[xiv] notes: ~ _edn14 ~

[xiv] Оставайся в той комнате, понятно? *(фр.)*

ра. Вероятно, кузена Сильвека выманили вопли полковника.

— Прошу вернуть телеграмму, — потребовал Витек.

— Ведь ты принес ее нам? Дай квитанцию, распишусь.

— Верните, я принесу в другой раз, — бормотал растерянный Витек.

По ту сторону долины зарокотал первый в этом году весенний гром. Оба невольно взглянули на фиолетовые облака, внутри которых тлел зловещий рыжий свет.

— Не нужно расписываться?

Витек, пятясь, спускался с крыльца.

— Не нужно. Это телеграмма для Алины.

— Я тебе покажу, щенок. Не смей шататься возле дома, иначе получишь заряд черной соли в задницу.

По железной крыше забарабанили редкие градины и утихли.

— Советую вам выбирать выражения, — процедил Витек, преодолевая спазм в горле.

— Ах ты, сукин сын! — взревел полковник и кинулся в дом. Что-то упало, послышалась возня, кто-то отчаянно зарыдал. — Отпусти ружье, отпусти сейчас же! — гремел в сумрачном холле

Наленч. — *Je vais le mettra a plat tout de suite* [xv], я этого сопляка нашпигую солью!

Витек по возможности сдержанно и гордо, однако с глазами на затылке отступал к калитке.

Потом он укрылся за колючим стволом мертвой ели, с которой сыпались мертвые иголки. Смотрел на виллу в бессильной ярости. А там еще метался по крыльцу разъяренный отец Алины.

— Никто меня отсюда не прогонит. Буду приходить сюда, когда и сколько захочу. Я не выпущу ее из когтей. Слишком поздно, помощник смерти, коновал солдафонский.

Витек долго шел среди незнакомых деревьев, сбившись с дороги. Остановился, промокший до нитки, на опушке леса и увидал внизу долину, вымощенную домами предместья. Увидал, словно впервые, старинные дома, воздвигнутые на протяжении ста лет, дома каменные, стилизованные под готические замки, особняки в стиле ампир, польские шляхетские гнезда и дома деревянные, огромные страшилища, словно выпиленные лобзиком православного безумца. Тут невзначай полыхнула молния, пронзила долину, вплоть до каменистого дна реки, озарив страшным, мерт-

---

[xv] notes: ~ _edn15 ~

[xv] Сейчас я его уложу *(фр.)*.

венным светом Вселенную.

И показалось Витеку, что долина загромождена развалинами. Вместо домов, деревянных и каменных, померещились ему очертания сокрушенных фундаментов, горы пепла, обугленные балки, разрушающиеся стены.

Когда, гонимый страхом, хотел обратиться в бегство, вспыхнула новая молния, и показалось ему, что долина выстлана садами, а в них старые дома и множество новых строений различной высоты, и все они сбегают террасами на дно долины, где по бетонному ложу течет к городу умиротворенная, тихая, мертвая Виленка.

Витек долго не мог уснуть, ворочался на соломенном матраце, начинка которого уже не пахла соломой, а источала удушливый запах пыли, старости и печали. Он слышал, как проснулась мать и бдительно ждала его возвращения. Ибо он навострился возвращаться домой незаметно, без единого скрипа струганых половиц, без громкого вздоха, как бы выключая незримое, но сильное биополе, выдающее присутствие человека в четырех стенах. Витек злорадно слушал ее учащенное дыхание и тщетно творимые шепотом молитвы. А за окном сверкало, то раздавался приглушенный гром, то недолго сыпал град.

Гроза носилась вокруг долины, ходила кругами, как огромная ночная птица. В минуты тишины заявлял о себе соловей чистыми, светлыми трелями, и тогда могло показаться, что за окном расцветает сирень, луна бредет сквозь темные облака и знойный ветер охлаждается трепетом свежей зелени.

Немного погодя Витек встал и, не зажигая лампы, ощупал сенник под простыней. Сразу же наткнулся на обтрепанный лоскут змеиной кожи, живой и неживой одновременно. Поднес ее к глазам. Заблестели чешуйки, похожие на мутные капли жира. Витек вздрогнул от отвращения. Толкнул створку окна, швырнул в темноту бесформенный ошметок. Ветер жадно подхватил его, понес в кусты, тревожно шебаршившие у забора.

— Это ты, Витек? — плаксиво спросил дед из своей боковушки, дверь которой никогда не закрывалась.

— Да, я, не спится, — сказал Витек, останавливаясь в ногах его кровати.

— Ты открывал окно?

— Мать положила мне в постель змеиную кожу.

— Она сходит с ума. Молится целыми днями, заваривает какие-то травы, сегодня лежала кре-

стом на полу.

— Новую икону повесила над моей кроватью.

— За все хватается, и за молитву, и за суеверия.

— Слышите соловья, дедушка?

— Все слышу. Я теперь превратился в огромное умирающее ухо.

— Удивительна эта весна тысяча девятьсот тридцать девятого года. Хотя удивительна, пожалуй, только для нас. Когда-нибудь школьники не смогут отличить ее от других. Спутают с весной девятьсот девятого или пятьдесят девятого.

Старик лежал неподвижно, укрытый густым мраком. В темноте, смердящей неизлечимым недугом, слышались хрип, посвистывания, бульканье, слышалась тяжелая работа разлагающихся легких.

— Вы заснули, дедушка?

— Я бодрствую, дитя мое, всегда бодрствую.

— А что будет, если я умру раньше вас, дедушка?

Зашуршала подушка. Старик торопливо крестился, точно отгонял незидимую пчелу.

— Нет, Витек, нет. Ты похоронишь сначала меня, потом мать. Мы будем тебе сниться, а ты будешь пугаться этих снов, и будут терзать тебя угрызения совести. Я приснюсь тебе окровавлен-

ным, бредущим на вечерней заре от калитки к крыльцу. Мать увидишь в гробу, как наяву, во всем кошмарном величии смерти, и гроб этот и останки матери будет алчно пожирать ненасытное пламя гигантского костра, ревущего, как ураган, и ты подумаешь, что это адский огонь, и проснешься потрясенный, в страхе, который навещает живых и среди бела дня.

За окном сверкнула молния, обнаружившая ослепительно белый город, приникший к устью долины. Рванулись вверх телеграфные столбы с путаницей черных проводов. Только холмы оставались недвижимы, как туши палых животных.

— Дедушка, я свободный человек.

— Откуда знаешь, что свободный?

— Мы все свободны.

Старик хотел повернуться на бок, но передумал. Витек разглядел на столике у его изголовья погребальную свечу в старинном подсвечнике и коробок спичек на белой тарелочке.

— Я родился во время январского восстания, минуточку, сколько же лет тому назад? Много, не хочется считать. Знаю это восстание по рассказам родителей, родственников, знакомых, видел войны, революции, государственные перевороты, путчи, бунты. Переживал пламенные надежды и

большие разочарования, наблюдал прохождение всевозможных войск через нашу долину, в ту и в другую сторону, вдоль и поперек, умирал и воскресал, сражался и терпел поражения, воспарял к святости и погрязал в грехах. Нет, Витек, вам только кажется, что вы свободны. Вы не свободны и никогда не будете свободными.

Снова запел ранний соловей. Он выводил свои рулады поразительно громко, словно хотел перекричать тревожную ночь.

— Дедушка, я знаю, что вольному воля. И я ощущаю это так сильно, так явственно, как никогда в жизни.

— Будешь жить с вольной волей в неволе.

— Так жить я не хочу и не буду.

— Ох, что за ночь. Все ночи страшны. Иди спать, дитя мое. Завтра тебя ждет новый день.

Витек наклонился, отыскивая на одеяле руку старика. Нашел горсть горячих, сухих, неподвижных косточек. Поднял эту руку и, превозмогая страх или, вернее, отвращение, коснулся губами тонкой, вытертой кожи.

* * *

Бывшая невеста Гитлера, уроженка Силезии, рассказывает о своем по-

клоннике. Анна Сова – вдова штейгера одной из шахт Верхней Силезии и дочь Тура, владельца пивной в Мюнхене, где А. Гитлер проводил время перед войной. Пани Сова, женщина лет сорока, блондинка с голубыми глазами, рассказывает: «Подруги смеялись над моим поклонником, вечно меня спрашивали: „Еще встречаешься с этим дикарем?" Он меня ревновал. В принципе, Адольф избегал женщин, как, впрочем, сторонился и любого незнакомого человека. Адольфу претили женщины в положении и евреи. Странное сочетание. И все же было именно так. Беременными женщинами он брезговал, евреев ненавидел всей душой. Когда мы прощались на вокзале в Мюнхене, то поклялись друг другу в верности и в том, что будем ждать друг друга. „Я никогда не сочетаюсь браком ни с какой другой женщиной, разве что со смертью", – сказал мне Адольф. Я, увы, не сдержала слово. По приезде в Силезию я познакомилась с моим будущим мужем. Признаюсь, что об Адольфе забыла. Вышла замуж. Только из газет узнала о

его существовании. Теперь он так велик, что не стал бы со мной разговаривать. Но клятвы не нарушил. Не женился», – добавляет пани Анна с удовлетворением, присущим женщине, одержавшей победу над представителем сильного пола.

* * *

Витек снова стоял неподалеку от гимназии, спрятавшись за ствол каштана. Но теперь окна огромного здания были перечеркнуты крестами из белых бумажных полосок и почему-то напоминали неотправленные голубые конверты. Каштан тоже изменился. Выпустил несметное количество бледных листочков, которые неуклюже трепыхались на ветру, как птенцы, пытающиеся летать.

Рядом на площади расположилась ярмарка или базар. Выпряженные лошади дремали, спрятав головы в торбы с овсом. На возах мужики раскладывали свой доморощенный товар. По темным улочкам, образованным телегами и балаганами, переливалась беспокойная толпа покупателей, продавцов, любопытствующих и жуликов.

Витек неотрывно следил за парадным входом женской гимназии. Кто-то входил туда, кто-то

весело сбегал по каменным ступеням, но здание оставалось безмолвным, словно замершим в ожидании, застывшим. Из боковой улицы выехал автомобиль, и у Витека потемнело в глазах. Он узнал этот синий кузов, похожий на жестянку из-под чая. Польский «фиат» ехал медленно, вздымая стелющуюся, жиденькую пыль, и остановился у каменной лестницы. Скрипнул ручной тормоз, из-за баранки вылез тучный сержант, поднял крышку капота и начал копаться в моторе. В салоне машины кто-то оставался и ждал, полулежа, в густой тени на заднем сиденье. Витеку, вероятно, почудилось, что этот кто-то внимательно наблюдает за улицей. И он отступил за дерево. Сорвал листок и принялся жевать его в волнении. Унтер поднял голову и посмотрел на небо, прикрывая глаза ладонью. Площадь затихла, вся толпа — торгующие, покупатели, любопытные и жулье — тоже уставилась на небо. А там в разрывах между золотистыми облаками плыли на север эскадрильи вольных птиц. Плыли тихо, во всю ширь неба, от горизонта до горизонта. Ломали строй и тут же его восстанавливали, послушные дисциплине великого перелета. Люди в молчании следили за величественной мистерией крылатых странников.

И вдруг пронзительно задребезжал электрический звонок, и тут же с лестницы посыпали сотни девчонок в синих мундирчиках. Витек даже не успел заметить, когда сержант закрыл капот, когда Алина села в автомобиль, когда машина тронулась. Услыхал только предупреждающее кваканье клаксона. Толпа гимназисток расступилась, и над их головами проплыла блестящая крыша «фиата». Потом машина, сверкнув отраженьями солнца в фарах, помчалась по улице с каштанами, увеличиваясь на глазах и грозно ревя мотором, словно хотела растоптать притаившегося за деревом Витека. Промелькнула совсем рядом, в облаках пыли и выхлопных газов. В эту долю секунды ему показалось, что он видит глубоко запавшие глаза Алины, устремленные на него с укором. Показалось, что, резко откинувшись назад, она прячется в тени, отстраняется от спутника. Показалось ему, что она кричит пронзительным, истерическим голосом, как человек, падающий в пропасть.

Толпа снова глазела на небо. Гимназистки тоже. В голубой вышине, чистой, еще не испепеленной зноем, устремлялась на север новая стая птиц.

— Не надо сюда приходить.

Витек резко обернулся, готовый к обороне. Но

это была Зуза, которая также смотрела на небо.

— Алина просила что-нибудь мне передать? — спросил Витек сдавленным голосом.

— Она ничего не говорит, а я и так все знаю.

— Почему она не хочет со мной встретиться?

Зуза опустила голову. Черная коса скользнула с плеча на грудь, как испуганный зверек.

— Не может. После выпускных экзаменов ее увезут за границу.

— Значит, всего через несколько дней.

— Да, собственно, через несколько дней.

— Что же мне делать?

— Все равно будет война.

— Плевал я на войну, на мир, на выпускные экзамены, на будущее, на ее родителей и на всех прочих людей. Мне все безразлично теперь. Я должен с ней увидеться, иначе я сойду с ума.

— Она, вероятно, считает, что вы все это выдумали, — сказала Зуза.

Витек рванулся к ней, и девушка отступила на несколько шагов.

— Ну и что, если выдумал? А какое оно — невыдуманное? Может, вы скажете, если она не смогла?

Зуза прислонилась к металлической ограде, за которой бушевала белая сирень.

— Не кричите так.

— Я не стесняюсь. Пожалуйста, пусть все знают.

— Вы наверняка больны. Нельзя ходить с температурой.

— Значит, либо придумал, либо болен?

— Может, и то и другое.

Витек хотел крикнуть, но не хватило сил. Взглянул бессмысленно на тротуар под ногами. В зазорах между плитами виднелись комочки мельчайшего песка, напоминавшие ягоды. Земляные муравьи бежали по невидимым тропкам в заглохший сад за металлической оградой.

— Ладно, — тихо произнес Витек. — Пусть будет так. Но это только начало.

Витек отвернулся от Зузы и побрел прочь по сумрачному зеленому туннелю, каштаны источали веселящий смолистый аромат свежести.

— Пан Витольд! — крикнула Зуза.

Он остановился, ждал не оглядываясь, понуро.

— Алина, пожалуй, очень страдает, — добавила она шепотом.

Потом он шагал вниз по склону, через лес, прогретый солнцем. Не замечал бутонов, лопающихся буквально на глазах, цветов, подрастающих с каждым часом, не замечал лета, торопящегося

в долину Виленки. Лес гудел трубным гласом, прислушиваясь к самому себе. Мокрые нити паутины хватали Витека за волосы. Какая-то крупная птица тяжело летела зигзагами среди еловых стволов. Озерки теплого смолистого воздуха стояли на солнечных полянах. Витек брел напролом зарослями буйной, молодой зелени, и все травы, цветы, кусты цеплялись за руки, хлестали по лицу, преграждали ему путь к Алине.

— Магараджа!

Да, это был кот Магараджа. Он шел не спеша, извиваясь змеей среди высокого папоротника, прикидывался, что не видит хозяина, изображал пристрастие к ботанике, рьяно обнюхивал длинные травинки.

— Магараджа, куда это ты собрался?

Кот задумчиво оглядел макушки высоких деревьев, а потом, поигрывая хвостом, как заправский хищник, канул в чаще молодых трав.

Витек остановился на опушке леса у края оврага — бывшего русла. Земляные террасы на той стороне были свежевскопаны, кудрявая рассада торчала из бурой, жирной земли. Стены виллы зазеленели от дикого винограда. В широких окнах отражалась вся долина и каменная пирамида города, замыкающая ее устье.

— Истерия инволюционная, — сказал Витек. — Как хорошо болеть.

Нащупал пульс на левой руке. Считал, глядя на дом, облитый предвечерним густеющим светом. За рекой послышались цимбалы, словно бренчанье просыпающихся к вечеру комаров.

— Я не улавливаю пульса. Я весь — гигантский, оглушительный пульс.

Хлопнула дверь на задах дома. Из-за угла выскочил Рекс и покатился огромным черным комком к калитке. Распластался на проволочной сетке, демонстрируя рыжее брюхо. Отчаянно залаял, и раскатистое эхо где-то возле французской мельницы подхватило этот лай. На крыльце появился доктор Наленч в мундире и при орденах. Он долго вглядывался против солнца в стену леса, распираемого предвечерним ветром. Наконец принялся звать пса. Рекс возвращался неохотно, то и дело останавливался на дорожке и усердно облаивал Витека, который замер у шеренги деревьев, вибрирующих от собственного шума. Доктор запер пса в холле, словно желая и его уберечь от соблазнов, а сам направился за дом. Там хрипло кашлянул мотор, раз, другой, а потом заурчал на полных оборотах. Сержант сбегал к задним воротам, распахнул железные створки

и вернулся к машине. Синий «фиат» покатил по новому, вымощенному камнем шоссе, которое вело в Новую Вилейку, где находился крупный гарнизон.

У Витека заныли ноги. Рядом золотился свежий сосновый пень. Витек тоскливо на него поглядывал, но не двигался с места.

— Сяду вечером, — сказал самому себе. — Тогда никто не увидит.

Мокрые штаны липли к телу. Он пошевелил пальцами ног. В ботинках чавкнула вода.

— Может, заработаю воспаление легких? Тем лучше. Очень хорошо.

Тени заметно удлинялись. В тесном ущелье накапливались сумерки.

— Алина, ты меня слышишь? — тихо произнес Витек. — Подойди к окну. Подымись со стула или тахты и подойди к окну. Видишь меня? Я стою здесь и жду тебя и ждать буду до конца света. Отвори дверь, пройди по дорожке к калитке, а потом ко мне, в лесной сумрак. Призываю тебя всей силой воли, всем своим могуществом.

Витек до боли вытаращил глаза, впился взглядом в окна, которые были мертвы, то есть, конечно, они не были мертвы, ибо отражали гаснущий день, просто никто за этим мертвым

отражением не пошевелил занавеской, никто не помахал рукой в знак взаимопонимания.

— Алина! — воскликнул он негромко.

Тучи расступились, обнажив чистое небо. Сбились толпами над горизонтом и там поджидали наступление ночи.

— Алина! — крикнул Витек.

— Алина!

— Алина!

Он кричал все смелее. Ему показалось, что Рекс скулит в доме и царапает дверь, ведущую на крыльцо. И тут отозвался уже седьмой состав, который, кряхтя, с трудом полз через долину в город. Усердно тарахтел, взбираясь на пригорок, затем долго визжал тормозами перед станцией, наконец с облегчением скатился к устью долины.

— Типичный невроз, — сказал Витек и вздрогнул: снизу, из леса, потянуло могильным холодом.

— Витька, — осторожно шепнул кто-то у него за спиной.

Это был Энгель. Он стоял у березки, трепетавшей едва проклюнувшимися листочками. Цеплялся за шелушащийся ствол побелевшими пальцами, готовый в любую минуту обратиться в бегство. Витек повернулся к нему боком, молчал.

— Иди сейчас же домой. Твоей мамаше плохо.

— Я тоже болен.

— Не валяй дурака, может, ее надо отвезти в город.

— Она послала тебя, чтобы ты меня отсюда выманил?

Энгель переступил с ноги на ногу. Его крупная лысеющая голова, облепленная сальными колечками ангельских волос, беспомощно покачивалась.

— Скандал будет, страшный тарарам.

— Пусть будет. А с какой стати?

— Неужели ты ничего не понимаешь?

Только сейчас Витек заметил чуть поодаль, в кустах дикой малины, Грету в светлом платье.

— А что я должен понимать?

Энгель оторвал *лоскут* коры, белой, как кожа покойника. Снова отчетливо зазвенели цимбалы на той стороне долины. Воздух замер, и звук свободно несся по глубокому желобу, обрамленному свежей зеленью.

— Они никогда не согласятся.

— Почему?

— Недалеко отсюда, там, у костела, погиб твой отец. Они это помнят, и все это помнят.

— Да, мой отец умер на ветке дуба.

Энгель долго молчал, а потом исторг шепот из стиснутого горла:

— Ты сын удавленника.

— Истерия инволюционная.

— Что ты сказал?

— Ничего. Самому себе.

— Через несколько дней выпускные экзамены.

— Пропади они пропадом.

— Дома тебя уже давно ждут.

— Пусть дом пропадает пропадом.

— Ты поплатишься здоровьем за свой идиотизм.

— Пусть пропадает пропадом моя жизнь.

Канюк принялся кружить над краем леса, над узким ущельем, над замершей виллой. Он описывал ровные круги, почти не шевеля крыльями, и, свесив голову так, словно полопались шейные позвонки, что-то высматривал на разогретой земле.

— Так когда же ты вернешься домой? — спросил Энгель.

— Может, никогда не вернусь. А теперь убирайся, иначе я за себя не ручаюсь.

Энгель отпустил ствол березы и вздохнул с демонстративной беспомощностью.

— Грета уезжает.

— Пусть едет. Ей всюду будет лучше, чем здесь.

Энгель вернулся к сестре. Они пошептались, украдкой поглядывая на Витека, у которого всерьез сводило левую ногу. Наконец Грета решилась, сделала несколько шагов в его сторону.

— Витек, слышишь?

Он молчал, неотрывно глядя на долину, всю в длинных, размытых тенях, похожих на шпангоуты тонущего судна.

— Знаешь, Левка сделал предложение Цецилии и не получил отказа. Сегодня вечером обручение. Ты в числе приглашенных.

— А какое мне до них дело?

— Не смешит тебя эта пара? — неуверенно полюбопытствовала Грета.

Витек медленно повернулся к ней.

— Грета, оставьте меня в покое. Я благодарен вам за все, знаю, что вы желаете мне добра, только я должен расхлебать все это в одиночку, как зверь. Никто не в силах мне помочь. Право, Грета, все слишком далеко зашло.

— Я тебе не верю.

— Мне никто не верит… Может, я сам себе не верю. Видимо, так должно быть.

— Ты, наверно, голоден?

— Я не голоден.

Совсем рядом взялся долбить трухлявое дерево запоздалый дятел. Лицо Греты постепенно расплывалось в нежданной улыбке. Заблестели, как светлячки, красивые зубы.

— А может, ты смешон?

Витек отвернулся от нее. Окна виллы полыхали багрянцем. Они так горели еще долго, пока долина отходила ко сну. За спиной слышался какой-то шелест, хруст валежника, раздавались приглушенные голоса. Когда же глянул украдкой через плечо, не увидал ничего, кроме пустого леса, живущего обычной ночной жизнью, и деревьев, умеряющих исподволь свое дневное движение.

И тут ожил костельный колокол и зазвонил так, как звонили тогда предвечерней порой все небольшие костелы. Благовест этот пробуждал тревогу, отчаянье, даже щемящую тоску и одновременно напоминал об умиротворяющем существовании Господа Бога.

Окна виллы догорали. На первом этаже совсем погасли. Лишь окна спальни Алины еще удерживали кровавый багрянец в объятьях рам.

Какой-то мужчина шел по полю к Верхнему предместью. На руке прорезиненный плащ. Высокие сапоги облеплены красной глиной. Поравнявшись с Витеком, пристально на него

посмотрел. Витеку, вероятно, показалось, что он где-то видел этого человека. Проводил его взглядом, идущего по высокой росистой траве.

Мужчина с плащом остановился и с минуту о чем-то размышлял. Потом, не оборачиваясь, спросил:

— Не знаете, высока ли вода в Виленке?

— Невысокая. Спала больше недели назад.

— Чудесная весна.

— Страшная. Необычная. Говорят, война назревает.

Мужчина в солдатских бриджах покивал головой, словно говоря: дай-то Бог. И зашагал вниз, однако вскоре оглянулся. Витек смотрел ему вслед и, пожалуй, начал уже что-то припоминать, да тут послышался громкий лай. Витек рванулся было к дому Алины. Но понял, что лает за пригорком незнакомая собака, которая обнаружила крота или испугалась огромной жабы с пузырями у глаз.

— Я всегда боялся ночного леса, а теперь не боюсь, — шепнул Витек и затопал одеревеневшими ступнями. — Зачем я здесь торчу, ведь мог бы лежать в теплой постели и думать о далеком будущем, выбирать себе разные судьбы и переживать их мысленно сколько влезет. Может, она

ведьма? Может, у армейского врача в страшную годину жестокой войны, когда повсюду шатались заблудившиеся воинские отряды, банды разбойников и ватаги беспардонных мародеров, может, именно в ту страшную пору родилась у него в семье маленькая ведьма со слащавым личиком ангелочка. Ну и пусть. Пусть ведьма, пусть вампир, который умыкнет меня в неведомую вселенную зла или неведомую пустоту.

Снизу, со дна долины, донесся тихий, смягченный расстоянием голос патефона. Витеку вспомнились слова: «Сулят нам тихо розы расставанье, нам розы нежно шепчут о прощанье, мы не вернемся в этот парк опять, осенним розам время увядать…»

Закружили майские жуки с гулким, натужным жужжанием. Воздух густел, теряя прозрачность. На краю горизонта возникло неустойчивое, блеклое пятно холодного света. Это возвращался польский «фиат», похожий на жестянку из-под чая. Состоялась обычная церемония с отпиранием ворот. Кто-то заговорил, повысив голос, чтобы перекрыть рокот мотора. Автомобиль въехал во двор, чихнул двигателем, спрятался за углом дома. Невидимые мужчины шумно подымались по ступенькам крыльца. Вспыхнула лампа в

холле. Витек метнулся к ограде, тараща глаза. Но свет вскоре погас, и дом погрузился во мрак. Только кровля вырисовывалась на мерцающем фоне неба, как тяжкая ноша альпиниста, остановившегося перевести дух перед завершением штурма вершины.

Витек вернулся на свое место.

— Присяду, теперь никто меня не видит.

Он нашел пень, белевший в черной траве. Сел со стоном облегчения. Все стихало. Долина казалась отсюда гладью гигантского озера, в котором мельтешили отраженные звезды. Только это были не звезды, а огни фонарей и светящиеся окна домов, потонувших в молодой зелени садов.

И тут где-то позади, чуть в стороне послышался нарастающий многоголосый гомон. Что-то ржаво скрежетало, порой камушек ударялся о железо. И Витек понял, что какие-то люди едут на велосипедах по шоссе, ведущему из Вильно в Новую Вилейку.

Витек поднялся с пня, всмотрелся в недвижимую темень, насыщенную таинственными звуками. Но тут вспыхнули электрические фонарики, и юркие лучи света начали выхватывать из мрака то лицо, то велосипедный руль, круглые фуражки, стволы винтовок. Это были полицей-

ские. Они совещались усталыми голосами. Потом кто-то принялся отдавать приказы. Едва различимые фигуры с велосипедами разошлись по лесу.

От резкого света у Витека закололо глаза. Он зажмурился, не двигаясь с места. Кто-то торопливо шел к нему, не гася фонарика.

— Что вы тут делаете, молодой человек? — спросил невидимый полицейский.

— Ничего. Жду.

— Кого, если можно знать?

Последние волны теплого воздуха, блуждавшие по склону, принесли резкий запах пота, суконных мундиров, скверно выдубленной кожи.

— Девушку жду, — неприязненно ответил Витек.

— Свидание, значит. Вы здешний, молодой человек?

— Погасите фонарик, иначе я ослепну.

Еще секунду рдело багровое волоконце лампочки. Потом на бирюзовом фоне неба проступила коренастая фигура полицейского.

— Я живу в Нижнем предместье, — сказал Витек.

— И давно ждете, молодой человек?

— А я знаю? Минут двадцать.

— Опаздывает?

— Да, опаздывает.

Полицейский вздохнул и поправил ремень винтовки.

— И я предпочел бы дожидаться девушку. А не видали вы тут посторонних лиц, молодой человек?

— Володко ищете?

Полицейский помолчал.

— Слишком уж вы догадливы, молодой человек.

— Не видал. Тут одни свои. Только летом появляются дачники.

Полицейский принялся шарить по карманам.

— Курите?

— Нет, — машинально ответил Витек, но быстро добавил: — Собственно, сегодня бы закурил.

Полицейский подошел, скрипя сапогами.

— Пожалуйста.

Витек нащупал коробочку, неловко покопался в сигаретах. Брызнул огонек спички. Наконец Витек выудил сигарету. Оба склонились над пламенем. Витек увидал небритую щеку и ремешок, застегнутый под подбородком.

— Спасибо. А кто он, этот Володко?

— Для нас бандит, а для других не знаю.

— Может, он из-за любви стал бандитом?

— В наше время люди все чаще сходят с ума из-за любви. Вы, как вижу, выпускник?

— Да, через несколько дней все будет позади.

— Советую вернуться домой. Нынешней ночью может быть большая суматоха.

— Спасибо. Я еще немного подожду.

— Тогда доброй вам ночи. Для нас-то она будет недобрая.

— Доброй ночи.

Полицейский вернулся к своим, которые тоже устроили перекур. Красные светлячки, мельтешащие во тьме, вспыхивали и меркли. Забренчали рамы велосипедов. Полицейские начали прочесывать притихший лес.

Разбудил Витека пронизывающий холод. Он вскочил с пня и заметался среди настывших за ночь кустов, не понимая, что к чему. Наконец остановил взгляд на долине, напоминавшей глубокую выемку от сгоревшего метеорита, увидал дом, притаившийся на гребне холма, услыхал сонное дыхание леса за спиной. У самых его ног пиликали сверчки, а может, потрескивал нечаянный заморозок. Без особой цели подошел к ограде. Проволочная сетка дрогнула, как железная койка, когда Витек взобрался на ее колючий гребень. Он спрыгнул в сад и, неверно оценив

высоту, рухнул в дикие травы, еще хранившие запах осени. С трудом поднялся, вытер руки о задубевшие штаны. Дом, прилепившийся над ущельем, ждал. В одном окне блестело мертвенное отражение луны или раскалившейся перед рассветом звезды.

Витек начал восхождение по террасам, напоминающим лестницы ацтеков. Наконец оказался возле дома. Стены источали ласковое тепло, подобное приглушенному дыханию спящих людей. Он коснулся шероховатой поверхности между вензелями виноградных лоз. Приложил обе ладони, как прикладывают к кафелю догорающей печи. Жадно прислушивался, но дом был глух и нем. Даже ухо, прижатое к стене, не улавливало никакого отзвука, кроме монотонного гула неодушевленной материи либо отраженного шума собственной крови.

Витек стоял возле дома и не знал, что предпринять. Где-то внизу раздавались одиночные свистки, похожие на голоса болотных птиц. Он подошел к углу, обращенному к долине. Увидал черную бездну, а над ее берегами несколько звезд, деловито подмигивающих с неясным намеком. Под ногами что-то зашелестело, и шелест этот прозвучал в предрассветный час удивительно

громко. Витек наклонился, пошарил дрожащими пальцами. Нащупал ворох собранных кем-то кленовых листьев.

И тут в доме залаял Рекс. Лаял басовито, заставляя дрожать стекла, потом долго повизгивал, как щенок. Витек присел за кучей прошлогодней листвы, сдерживая дыхание. Он слышал учащенное биение своего сердца, такое же громкое, как стук приближающегося поезда. Снова забеспокоился в пустых покоях Рекс. Но, вероятно, кто-то позвал его, так как он вдруг протопал по ступенькам холла. Скорее всего, побежал к Алине, чтобы поделиться своими подозрениями.

От листьев удивительно искушающе пахло сухостью. Витек пошарил по карманам. Наконец за подкладкой нашел две спички и обшарпанный обломок коробка. Чиркнул спичкой о серу почти бесцельно. Тут же вспыхнул бойкий огонек и обжег ладони. Чтобы погасить, Витек сунул его в кучу листьев, покрытую сверху испариной росы. Там что-то пискнуло.

— Скончался. Больше не оживет, — шепнул Витек. — Мог бы поспорить, если бы было с кем.

Он застыл, склонившись над мертвым курганом из листьев. И вдруг в недрах этой утлой сухой кучи затеплился бледно-розовый огонек. Выполз

тоненький язычок, что-то выискивая в ворохе листвы. Заметался, пробуя черенки, обтрепанные края, клочки мха, и вдруг метнулся вверх с радостным треском. Стал разбухать, расчленяться, разрастаться десятками ответвлений. Запел, сперва пискливо, затем все басовитее, наконец замурлыкал, зачавкал, захрустел ветками, словно со смаком их разгрызая.

— Истерия инволюционная… — тихо произнес Витек, не в силах оторвать глаз от огня, который уже заползал ему на ботинки.

Невзначай глянул вверх, на ее окно. За черным стеклом что-то белело. Эта белизна, похожая на склонившуюся женщину, напомнила Витеку давно забытое страшное видение.

Он в панике бросился на огонь, привольно плясавший над кучей листьев. Исступленно топтал ее жаркое чрево в облаке взбесившихся искр, которые жалили ему ноги. Швырял горстями мокрую землю. Костер заслонился густым, едким дымом, он уже проигрывал и вынужден был отступить.

Витек еще некоторое время выжидал над останками, исторгавшими влажное тепло. Потом, пригнувшись, пробежал к ограде. На секунду задержался у средней террасы. Глянул на окно

Алины. Окно было пустым. Совершенно пустым, как лист черной бумаги.

На дне долины снова послышались странные свистки. Витек перелез через ограду и, усталый, вернулся на свое место. Небо на востоке присыпал багряный прах из невидимых песочных часов.

И тут раздался далекий винтовочный выстрел. Витек впервые в жизни услыхал настоящий выстрел. Втянув голову в плечи, он прислушивался к незнакомому отголоску, который угасал в закоулках долины. И пожалуй, подумал также, что выстрел, скорее всего, означает чью-то смерть.

— Что ты вытворяешь, дитя мое? — спросила мать, словно обращаясь к нему из соседней комнаты. — Что ты бродишь возле этого дома?

Витек увидал ее совсем рядом, хотя и едва различимую на фоне черной стены ельника.

— Мне не спится. Я устал, — произнес он сердитым голосом.

— Ты же вовсе не ложился спать. Витек, ты хочешь меня убить?

— Возвращайся, мама Я знаю, что делаю. Все будет хорошо.

— Вернемся вместе, сынок. Мне снился ужасный пожар. Все горело, дом, город, весь свет.

— Огонь — это к большим переменам в жизни.

Мама, все будет хорошо.

— Идем, вернемся вместе. — Мать схватила его за руку. — Ты болен. Я с зимы предчувствовала, что ты заболеешь.

— Нет, я останусь. Приду позже.

— Я закричу. Буду так кричать, что разбужу всех. И ее разбужу.

Витек порывисто прижал мать к себе. Расцеловал сухими губами.

— Я знаю, мама, все понимаю и все-таки останусь. Не заставляй меня, иначе произойдет непоправимое. Ты должна мне доверять. У каждого в жизни такое случается, и ничего тут не поделаешь. Все будет хорошо, мама, верь мне, все пройдет, а теперь иди, я действительно скоро вернусь, только сам, по своей воле.

— Поклянись, что вернешься.

— Клянусь.

— Памятью отца?

Витек помялся. Настоящие, вполне реальные птицы уже просыпались в лесу.

— Да, клянусь.

Она нашла его руку, принялась целовать с тоненьким, кошачьим хныканьем.

— Ну ладно, мама, возвращайся.

— Я принесла тебе пальто.

— Хорошо, пусть будет пальто. Пожалуйста, иди, мама, ну пожалуйста, оставь меня.

Витек подтолкнул ее к тропинке. Оставил одну в темноте, под градом тяжелых холодных капель, а сам юркнул в глубокий овраг. И затаился, припав к песчаному склону. Первые скворцы подымались с черного дна долины. Они летели куда-то в сторону Пушкарни, точно стремясь раньше других увидеть встающее солнце. В своем восторженном полете они устраивали веселые потасовки, перегоняли друг друга, бесстыдно кричали над спящей еще землей.

Витек поднялся на край оврага. Осторожно вгляделся в неподвижность леса.

— Мама? — окликнул вполголоса.

Никто не ответил. Витек вернулся к своему дереву. И только теперь заметил, что судорожно сжимает в руках старую гимназическую шинель. Хотел было ее отшвырнуть, но передумал и украдкой от самого себя прикрыл онемевшую от холода и усталости спину. Потом, вероятно, вздремнул, ибо проснулся внезапно и словно в ином мире. Расплавленное над горизонтом солнце уже основательно пригревало. Над лесными цветами кружили пестрые бабочки и пчелы-трудяги. Деревья дожидались ветра, как огромные

черные паруса.

И вдруг где-то внизу грянули медные тарелки, рассыпалась дробь барабанов, а потом взвыли дудки. Витек глянул с высоты, словно ястреб, на предместье, приросшее к улице Дольной, той, что началась где-то под Новой Вилейкой. А по этой песчаной улице в город въезжал Тринадцатый полк улан, называемый татарским. Впереди, сразу же за бунчуком из бело-красного волоса, плавно шел полковой оркестр на сивых лошадях. Легкий ветерок уже трепал двухцветный конский хвост на бунчуке, заменяющем знамя. Музыканты энергично дули в свои трубы, флейты, окарины и свистульки. Долину незамедлительно заполнила до краев свирепая, скрежещущая музыка.

За оркестром ехали шагом эскадроны, каждый на лошадях иной масти. И улица эта словно бы показала десны. Хотя это были всего лишь розовые околыши уланских конфедераток. Потом ветер заиграл и уланскими флюгерами на пиках. Улица исчезла в трепетном плеске веселых красок. И Витеку подумалось, что над весенним лугом проносится первый порыв нежданной бури.

Костельный колокол дожидался, пока пройдут войска. Однако из зелени перелесков у самого

подножья горизонта высыпали все новые и новые эскадроны. И колокол неожиданно зазвучал на поразительно высокой ноте, с трудом пробиваясь сквозь азиатскую музыку. Нетерпеливо зачастил, низвергая отчаянно-стремительную россыпь жалостливых ударов. Завязалась борьба за власть над долиной между татарским оркестром и колоколом католического костела.

И тут Витек увидал на крыльце виллы полковника. Во вчерашнем мундире с наградами в несколько рядов. Он неотрывно смотрел на Витека, а Витек смотрел на него, и походили они на двух птиц, гипнотизирующих друг друга перед схваткой.

Полковник медленно, не поворачивая головы, попятился к дверям холла. Мелкими, почти незаметными шагами, расставив руки, как крылья. Остановился на пороге. И все глядел напряженно на Витека, смотрел странно, исподлобья, вероятно боясь потерять его из виду. Потом он исчез во тьме холла и столь же внезапно выскочил на крыльцо. Теперь уже с двустволкой в руках. И начал прицеливаться. У Витека мурашки побежали по спине. Ему захотелось уменьшиться, превратиться в гнома. Хотя продолжалось это, пожалуй, не более секунды. Витек вздохнул, выпрямился,

гимназическая шинель поползла с плеч.

— Во имя Отца и Сына и Святого Духа, — зашептал он, не шевеля губами.

И тут полыхнул багряно конец одного из стволов, хлестнуло по листьям кустарника, как внезапным градом, и все заглушил ужасающий грохот двустволки. Витек мысленно распластался на земле. Однако он продолжал стоять, сгорбившись, среди деревьев, до боли зажмурив глаза.

Кто-то закричал в холле, полковник оглянулся, чтобы попугать кого-то оружием, а когда крик оборвался под стремительный топот ног, нашел взглядом Витека и опять вскинул двустволку.

— Во имя Отца и Сына, — снова зашептал Витек.

Хотел о чем-то подумать, может, в чем-то поклясться и не успел, ибо снова полыхнуло, на сей раз из другого ствола. Сдуло свежие листья с деревьев и сухие — с земли. Чудовищный грохот разорвал воздух, наполненный какофонией звуков.

Витек ждал, но ничего больше не произошло. Осторожно открыл глаза. Полковника на крыльце не было. Снизу доносился лишь голос татарского оркестра. Костельный колокол уступил поле боя. Снова появились веселые бабочки, не потеряв-

шие интереса к лесным цветам и травам.

Витек повертел головой, пошевелил руками. Боли не почувствовал. И тогда двинулся в обход оврага к ограде виллы. Остановился у ржавой сетки. Поднял руки, вцепился пальцами в шероховатые ячейки. И в этой позе позволил себе отдохнуть.

Потом он наблюдал церемонию отъезда полковника Наленча. На этот раз «фиат» покатил в сторону Вильно. Доктор на ходу высунулся из окна машины и погрозил Витеку кулаком.

Дом был мертв, как и вчера. Земля источала расслабляющий зной. В высокой траве ожили кузнечики. Позади Витека пытался раскачаться настывший за ночь лес.

Скрипнула дверь. На крыльцо воровато выскользнул кузен Сильвек. Осторожно огляделся и побежал к калитке. Не застегнутые внизу брюки гольф путались у него в ногах.

— Ну что, хрен маринованный, жив еще? — со злостью спросил он, подходя к Витеку.

— А тебе какое дело?

— Видно, получил в задницу пару горстей соли?

Витек промолчал. Приложил лоб к холодной сетке. Оркестр татарского полка уже затих в

глубине долины. Хотя кавалерия еще шла по предместью.

— Послушай, ты, влюбчивый петушок, плюнь на нее и иди себе домой. Мать наверняка что-нибудь толковое приготовила. А это глупые буржуи. Жаль тратить на них время. Не знаешь ты нормальных девчат?

— Не знаю.

Кузен подошел ближе и неожиданно толкнул Витека, который, отпустив сетку, покатился в заросли прошлогодней крапивы.

— Самолюбия у тебя ни на грош, дубина. Унижаешься перед одичавшими мещанами. Лучше возьми бутылку керосина и подожги претенциозную халупу пана полковника. Что тебя здесь привлекает? Продавленный плюшевый диван, паршивые ордена, солдафонские фанаберии, и больше ничего. Конец их не за горами, уверяю тебя.

— А почему ты у них болтаешься? Ты чего ждешь? — Витек вылез из крапивы. На тыльной стороне ладоней уже проступали красные волдыри.

— Ух ты, какой ревнивец. Ну ладно, слабак, я принес тебе добрую весть. Аля встретится с тобой в полдень у реки, там, где мы были втроем, возле

неоконченной дороги. Доволен?

— Может, вы хотите от меня отделаться?

— Взгляни. Видишь ее в окне?

За стеклом, налитым голубизной, что-то маячило.

Внизу топали тысячи конских копыт, порой доносилось ржание норовистого коня.

— Помни, все они должны погибнуть. Жаль, если вместе с ними и ты пойдешь ко дну.

— Почему они должны погибнуть?

— Весь мир изжил себя. Близится всеобщий катаклизм.

— А что будет потом?

— Анархия, мать порядка. Ступай поспи пару часов. Тебя трясет как в лихорадке. Иди, а то дам в рыло. Полюбуйся моим кулаком, это молот мстителя.

Витек спускался лесистым склоном к реке. То и дело вздрагивал от озноба, хотя был в шинели и все постепенно раскалялось: разгорался первый жаркий день лета.

Проходили уже не в лучшем порядке последние эскадроны татарского полка. За ними тащились фуры. Когда Витек пересек железнодорожное полотно, снова грянул оркестр в начале улицы Дольной. Надвигался Восемьдесят пятый пехот-

ный полк. Оркестр этого полка занимал первое место по стране. Мостовая уже основательно подсохла, поднялась легкая, но назойливая пыль. Знаменитый оркестр, который, как и полк, называли «восемь-пять», играл не хуже филармонического. Только величие и мощь меди не позволяли забыть, что это армия.

У реки заседал аистиный конгресс. Большие птицы, рассыпавшись по лугу и не глядя друг на друга, предавались размышлениям. Лишь время от времени то одна, то другая резким движением вонзала клюв в крыло и начинала энергично перебирать перья.

Витек расстелил шинель на песке незавершенной дороги. И тут заметил высыпающиеся из подкладки крупные кристаллы темной соли. Поймал один, похожий на градину, положил в рот. Остальные стряхнул с шинели. Соль мгновенно поглотил сыпучий, подвижный песок, горячий, как пепел разворошенного костра.

Витек улегся на шинели. Лежа под душным пологом зноя, он подавлял в себе какой-то страшный, могильный холод, который прорывался наружу мелкой дрожью. Растирал языком по нёбу соленую горечь и смотрел ввысь, в монотонно-голубое небо, каким оно тогда бывало.

Смотрел-смотрел и уснул.

Разбудил его чей-то взгляд. Он осторожно разлепил веки, налитые пульсирующим багрянцем. На дороге рядом с ним сидела Алина. Из маленького кулачка, словно из песочных часов, выпускала она струйку песка. Снова звонил колокол, теперь уже созывая на полуденную молитву.

— Что ты вытворяешь? До чего ты себя довел? — спросила она тихо.

— Не надо было со мной связываться.

— Я связывалась? Да ты все это выдумал.

— В таком случае тебе вообще не следовало родиться, — произнес он, с трудом глотая пересохшим горлом слюну. — Теперь уже поздно.

— Что поздно?

— Сама прекрасно знаешь. Идем, не сидеть же здесь, на виду у всех.

Она послушно встала. Он шел впереди, она — чуть отставая. Шли по краю ольшаника, пленившего реку от истоков до самого устья. Аисты все еще обдумывали резолюцию или попросту дремали, сморенные зноем.

— Мы поженимся сразу после экзаменов, — проговорил Витек усталым голосом.

— Вижу, что ты действительно спятил. Мои родители никогда не согласятся.

— Потому что я сын самоубийцы? — спросил он, не оборачиваясь.

Откуда-то из-за железнодорожного полотна доносилась залихватская походная песня, которую пели усталые взводы. Это приближался к городу Восемьдесят пятый полк.

Алина робко коснулась его руки.

— Именно поэтому ты возбуждал мое любопытство.

— Только поэтому?

— Не знаю.

Витек остановился, обернулся, Алина замерла, пожалуй, в притворном испуге. Солнечный свет сфокусировался в ее волосах, пышных, как сноп. Он пожирал взглядом ее потемневшие глаза цвета речной воды перед грозой, ее рот, напоминавший о цветущем вереске, золотистую кожу на шее, где тревожно билась жилка, словно перышко птицы.

— Не смотри на меня так. Я смущаюсь.

— Теперь уже слишком поздно, — повторил он.

Дошли до крутого поворота реки, над которым возвышался жуткий склон. Вода бежала тут резвее, бурля у подмытых коряг и огромных, угловатых камней. Уселись на маленьком травянистом балкончике, прилепившемся к обрыву. И

могло им теперь показаться, будто они бесшумно летят над рекой в гондоле воздушного шара.

— Что он у вас делает?

— Кто?

— Этот Сильвек, якобы кузен. Только не ври, а то задушу.

Алина прилегла среди кустиков чабреца, благоухавшего горечью и солнцем.

— Что делает? Может, меня обожает?

Витек наклонился над ней. И в этот самый момент подала голос кукушка, совсем близко, вероятно, с соседнего дерева.

— Ну, кукушка, — сказала Алина, — сколько лет я еще проживу?

— Сколько лет проживем мы оба?

Но птица молчала. Тогда они подумали, что кукушка просто подсчитывает. А река вдруг громко заговорила, словно возобновляя прерванную молитву.

— Видишь, — шепнула Алина. — Видишь, больше мы жить не будем.

Витек чувствовал присутствие птицы. Догадывался, что она встревоженно суетится на ветке, нервно передергивает крапчатыми крыльями. И ждал с замиранием сердца, затаив дыхание.

Наконец кукушка издала один-единственный

звук, голосом сиплым и неуверенным.

— Жалует нам один год, — шепнула Алина.

И тут птица принялась куковать все торопливее, словно опасаясь, что не выкукует напророченных лет.

— Пять, шесть, семь…

— Семнадцать, восемнадцать, девятнадцать…

— Сорок один, два, четыре…

— Хватит, больше не хочу.

— Шестьдесят пять, шесть, семь…

Сверху, словно с неба, по крутому склону скатывается черный пес-великан. Резко тормозит на их травянистом балкончике, гоня перед собой высокую кучу прошлогодних листьев.

— Нашел нас, чтобы шпионить? — спрашивает Витек.

Рекс повизгивает, припадает на передние лапы, порывается прыгнуть от радости в пропасть, но воздерживается, лижет длинным языком обоих, вертится волчком, ворошит задом кусты.

— Убирайся, пошел вон! Нельзя подглядывать. — Витек подымает руку с палкой.

Пес вожделенно косится на палку, готовый к прыжку, но, когда Витек бросает ее вниз, в заросли ольшаника, стонет, перебирает задними лапами и не торопится подавать поноску.

— Знаешь, сколько раз куковала? — нарушает молчание Алина. — Семьдесят семь.

— Это, пожалуй, не нам. Вероятно, кто-то другой о чем-то совершенно другом спрашивал ее вместе с нами.

— А вдруг это волшебный шифр? Может, в этом числе заключено некое важное предзнаменование?

— Нам не нужны гадания. Я боролся, жаждал и выстрадал тебя. Теперь слишком поздно отступать.

— Не знаю, Витольд, я уже ничего не знаю. Случилось что-то нехорошее. Затянулся какой-то узел. И все сильнее давит. Ужасно.

— Не бойся, я сильный, я смету все препятствия. Никто еще на свете не любил так, как любим друг друга мы.

— Я помню только, что хотела умереть. Уйти навсегда в убранстве из свежих цветов, при свете солнца и пении птиц.

— Кукушка утверждает, что впереди у нас долгие годы жизни. Великое множество огорчений, радостей, поражений и побед, смертей и воскрешений. Не бойся, почему ты отворачиваешься? Взгляни, твои волосы перемешались с травой, божья коровка бежит по виску к глазам, несет

тебе добрую весть. Даже деревья говорят, что все у нас будет хорошо, и удивляются, и нас ободряют. Взгляни, какие они довольные.

— По-твоему, я должна очертя голову броситься в неизвестность?

— Нам это по плечу. Нам двоим, и больше никому на всем белом свете.

— Где ты был, когда я тебя не знала?

— А ты где была?

— В своем собственном небытии. У меня голова идет кругом от того, что деревья качаются.

— Подожди, я заслоню тебя от них и от неба.

— Нет, так я совсем потеряю голову.

Витек наклоняется, припадает губами к ее губам. Она напряженно прислушивается. Вцепилась пальцами в траву.

— Я все это люблю, — шепчет Витек, торопливо целуя ее горящими губами. — Твои переменчивые глаза и удивленные брови, твой любопытный нос и улыбающийся рот, робкую шею и горячие, пугливые груди.

Он застывает, слившись с ней губами. Что-то ритмично стучит все быстрее в висках, и этот стук, как удары копра, заглушает бормотанье реки, шум леса, всю жизнь на дне долины. Стук этот, вероятно, достигает предместья, взмывает

над городом, и все слышат отзвук буйства молодой крови.

— Ох, я умираю.

— Нет. Это пробуждается взрослость.

Витек хочет ворваться рукой в вырез платья. Трясущиеся пальцы цепляются за пуговицы, за бретельку лифчика, за складки шелка. Наконец всей ладонью накрывает трепетную, как птица, грудь. Сердце ее бешено колотится о тонкие ребра. Она медленно закрывает глаза. Внизу, под их убежищем, кто-то отчаянно скулит.

— Откуда я это помню? — шепчет он в ее вспухшие, липкие, как надкушенный абрикос, уста. — Когда я это уже пережил?

Алина молчала. Замерла на ложе из трав, благоухающих солнцем и горечью. PI ладонь Витека поползла по впадине живота, подернутого тончайшим покровом испарины. Ее недвижимость ободряла его. Но когда в дикой оторопи подобрался он к краю горячего мха, Алина вдруг с силой оттолкнула его голову и повернулась на бок, загородив лицо локтем.

— Нет, погоди, не надо, ох, у меня разорвется сердце.

Пуговица с ее платья покатилась среди старых желудей, сосновых игл и прорастающих трав.

Кто-то неустанно канючил у них в ногах. Это жалобно повизгивал и угрожающе рычал Рекс. Вертелся вокруг, испуганный, несчастный. Пытался ухватить Витека зубами за ботинок, но приступы рыданий мешали ему осуществить задуманное.

Алина медленно поднимает дрожащие веки.

— Где мы были так долго?

— Там, где сбываются сны.

— Нет, это совсем другое место. Может, на берегу океана или среди снежных вершин?

— Почему ты меня оттолкнула?

— Я хотела прийти к тебе в длинном белом платье, в прозрачной вуали, которую колеблет ветер. Пусть это будет красиво.

— Будет красиво. Открой лицо. Ты меня стесняешься?

— Я не стесняюсь. Я слушаю тебя. Кажется, кто-то ужасно плакал.

— Рекс, твой пес. Испугался нашей любви.

Алина отвела руку от лица, устало уронила ее на упругие кустики чабреца. Он уловил мимолетную, бледную, рассеянную улыбку на ее губах.

— А ты не боишься нашей любви?

— Нет. Ведь она единственная. Другой такой нет на свете.

— Откуда ты знаешь?

— Эту долгую ночь я был один на один с ветром и небом, со звездами. И теперь знаю все. Я выстоял тебя, как терпеливая птица.

— Какая птица?

— Наверняка есть такая, самая терпеливая.

Алина приподнялась, пошатываясь, поправила волосы, в которых запутались былинки и непроросшие семена трав.

— Так что же с нами будет? — спросила она с той же отрешенной улыбкой.

— Думаю, что теперь ты будешь командовать.

— Всегда я?

— Нет. Иногда и я. Но всегда мы будем знать, когда тебе распоряжаться, когда мне.

— Ты не боишься моих капризов?

— Я знаю, ты рождена в полночь тринадцатого числа того месяца, когда земля содрогалась от молний.

Алина наклонилась и припала к его губам.

— Мы сбежим после экзаменов?

— В какой-нибудь из университетских городов. Я буду работать и учиться, а ты — учиться и вести дом.

— А ты станешь самым знаменитым врачом?

— Ты будешь женой прославленного профес-

сора.

Алина снова поцеловала его и шепнула, не отводя губ:

— Может, и я уже люблю?

— Наверняка. Можно ли не любить меня?

— Два хитрейших человека в округе заврались насмерть.

— Это прекрасно.

Рекс терзал когтями дерн, заглушая отчаянье или тоску. Комья лесного чернозема летели вниз, как черный снег.

— Крота ищет, — сказала Алина.

— Нет, притворяется. Страдает от ревности. А Сильвек?

— Что Сильвек?

— Ты не ответила на вопрос.

— Сильвек в ссылке. Впутался в историю, которая сродни нашей. Взгляни, что-то блестит в реке. Раковина или монета. Думаю, нам на счастье.

Действительно, что-то поблескивало между воронками водоворотов и шевелящимися бородами водорослей. За обрывом, в каньоне предместья, все еще распевали марширующие солдаты.

— Это монетка, которую ты мне когда-то дала. Пятьдесят грошей, с которых все началось.

— Почему ты бросил ее в реку?

Витек уже скользил по глинистому откосу, к которому кое-где лепились кусты на островках дерна, принесенных ливнями.

— Я обронил ее тут, грустя о тебе.

Алина, оставшаяся на краю оврага, все уменьшалась и отдалялась. В одинокой усадьбе на том берегу зазвучали уже знакомые цимбалы.

Витек вошел в воду, начал перебирать пальцами в скользких волосах водорослей.

— Чуть левее! — крикнула Алина.

— Здесь?

— Ближе к ногам. Да, здесь.

Потом он возвращался, цепляясь за высохшую глиняную стену, изрытую норами ласточек-береговушек.

— Поймал? Нашел?

— Там ничего нет. Сплошная галька и мерзкие водоросли.

— Как это нет? Погляди.

Обнявшись, они склонились над пропастью. В воде что-то все-таки поблескивало, пуская зайчики в их сторону. Тускнело под толщей воды, чтобы тут же снова засверкать.

— Пусть блестит, — сказал Витек. — Пусть нас ждет. Что теперь прикажешь?

— Надо возвращаться, иначе отец нас убьет.

Встретимся здесь же после выпускных экзаменов. В три часа пополудни. И проведем военный совет. Хорошо?

— Я не выдержу столько дней без тебя.

— Мы должны соблюдать осторожность. Мы самые хитрые выпускники на свете.

— А потом — полный вперед. В дальнюю дорогу.

— В дальнюю дорогу или в беспредельность.

— Лучше в дальнюю дорогу.

— До свиданья, супруг мой.

— До свиданья, супруга моя.

Она побежала вверх по лесистому склону, опережаемая Рексом, вновь обретшим радость жизни.

— Не догоняй меня! — крикнула с вершины, придавленной нагромождением облаков. — Я должна вернуться одна!

— До скорых лобзаний, супруга!

— До скорых, супруг мой!

Когда Витек поднялся на гребень холма, изъеденного эрозией, Алина уже перебегала в дрожащем мареве железнодорожное полотно.

— Она должна оглянуться. Это будет добрая примета, — шепнул он.

Но Алина не оглянулась. Рекс мчался впереди и

лаял молодецки уже среди садов в белоснежном цветении.

И тут из неглубокого оврага выкатился, громыхая старым железом, поезд. На серых подушках пара мчался он к северным берегам горизонта. В пустых окнах смазывалось отраженье заснеженных садов. И вдруг в одном из вагонных окошек Витек увидал неподвижную и исполненную достоинства знакомую фигуру архиепископа. В излучающих удивительный свет руках он держал позолоченный требник, но смотрел на убегающий монотонный пейзаж и на Витека, застывшего среди высоких сталагмитов конского щавеля. Поезд промчался, волоча за собой ритмичный перестук колес.

— Вероятно, мне показалось. А может, он уладил какое-то важное дело и теперь возвращается в свой дворец, в пожизненное заточение. Может, я все-таки видел архиепископа, только не знаю, зачем мне нужно было его видеть.

И тут из гущи старых акаций вышел полицейский с нашивками старшего сержанта. Он волочил за ремень винтовку с заляпанным глиной прикладом. Глаза были налиты кровью, потное лицо заросло темной щетиной. Полицейский остановился возле Витека, вытащил из

кармана металлическую коробочку с потертыми, словно серебряными уголками.

— Закурите? — спросил Витека.

— Благодарю. Некурящий.

— Снова девушку дожидаетесь. Ту же самую?

— Уже дождался.

— Все в порядке?

— Даже лучше.

Полицейский закурил, молча разглядывая Витека. Жадно затянулся, выпустил дым изо рта и носа, выпускал до бесконечности. И одновременно моргал красными веками.

— Удивительная весна, — сказал он. — Только в лесу и в поле, под голым небом, видишь, какая это удивительная весна.

— Каждый год люди удивляются весне, лету, зиме. Видно, так уж и должно быть.

— Собственно, мне без разницы.

— Не огорчайтесь. Все будет хорошо.

— Что будет хорошо?

— А я знаю? Вся наша жизнь.

Полицейский сплюнул желтую слюну в пышный куст мертвого чертополоха. Покачал головой.

— Вся наша жизнь, — проворчал он. — А геморрой разыгрался — спасу нет. Ну, не буду мешать.

И пошел вразвалочку к Пушкарне.

— У меня старческие мозги. Преждевременное одряхление серого вещества, — прошептал неизвестно почему Витек. — Может, и в нашем бытии случаются сбои, как в погоде? Надо быть молодым. Хотя бы им прикидываться.

Он пошел через железнодорожные пути домой. Телефонные провода ныли к ненастью. По Дольной втягивался в город дивизион легкой артиллерии. Солдаты калякали на зарядных ящиках. Высокие колеса орудий натужно перемалывали песок с конским навозом. В саду у сестер Путято восседала на покрывалах, стянутых с кроватей, скучающая компания. Патефон стоял праздно в тени кустов смородины. Во всю ширину пластинки змеилась трещина. Витек облокотился на забор, инкрустированный высохшим мохом.

— Люди! Чего загрустили? Больше жизни, энергии, радости!

Компания изумленно воззрилась на него. Распаренный Лева обнимал за талию Цецилию, пан Хенрик застыл с надкушенным соленым огурцом, Энгель подавился подозрительной, мутной жидкостью, которую потягивал из щербатой кружки.

— Вот видите, вернулся, — сказала Олимпия.

— Зря тратите время, ей-богу.

— А что нам делать?

— Не знаю. Подпрыгивать до неба, бить кулаком по голубому своду, чтобы разлетелся вдребезги, как дурацкое зеркало. Кричать, чтобы звезды посыпались, как шишки с дерева. Люди, вы же молоды!

Лева отпустил Цецилию, отер рукавом пот со лба.

— Видите, бредит. Сперма в голову ударила.

— Да пошел ты, не выражайся при людях. — Цецилия игриво ткнула его в шею. — Пан Хенрик вступил добровольцем в армию.

Техник-дорожник страдальчески наморщил лоб.

— Никому я не нужен. Панна Олимпия дала мне от ворот поворот. Пойду на фронт сражаться за отчизну.

У Олимпии слегка затуманились глаза. Она глотнула пойла, привезенного паном Хенриком. Пышный бюст с любопытством выглядывал из декольте пестрого халата.

— Какой от ворот поворот, о чем он болтает? Надо сначала себя показать.

— Молчи, глупая, — шикнула сестра. — Мать лежит с сердечным припадком.

— Тебе хорошо, подцепила гимназиста, бесстыдница.

— Ну и что, ну и что? Мы почти ровесники, верно, Левушка? Вспотел, бедняжечка, расстегни рубашку, вот так, не стыдись, смотри, сестричка, лохматый, как медведь.

Тут в недрах дома застонала дурным голосом Путятиха. Однако никто на это не обратил внимания.

— Какая вы смелая при людях, — сказал техник-дорожник. — Ах, кокетка, кокетка.

— Садитесь рядом со мной, будем нюхать ночную фиалку.

— Восемь месяцев сюда езжу. Работу совсем запустил.

— И прошу вас расстегнуть рубашку.

— Почему я должен расстегиваться?

— Вижу, вы запарились, козленочек. Хочу, чтобы расстегнулись.

И Олимпия схватила пана Хенрика за рубашку. Тот неуклюже отбивался.

— Ах, какая нежная кожа. Полюбуйся, сестричка, совсем как у девушки.

— Боже ты мой, боже, — заныла Путятиха, показываясь в окошке с огромным компрессом на голове.

— Лежите, мама, не пугайте людей.

— Проклинаю вас, распутные клячи.

— Ну ладно, ладно, к чему эти громкие слова?

Техник-дорожник выставил из-за забора смазливую физиономию порядочного осла.

— Как полагаете, пан Витек, я нормальный или ненормальный?

— Бог ведает. Хорошо бы вам провериться.

— А вдруг проверка даст отрицательный результат? Лучше пусть все останется по-старому.

— А вас никогда не тянуло поэкспериментировать?

— Собственно, особой тяги не испытывал. Хотя возраст уже подходящий и следовало бы жениться, как все.

— Почему считаете, что у вас отклонения?

— Отойдем, дорогой, в сторонку, я тебе кое-что покажу. Ты медик?

— Скоро буду медиком.

— Тогда пошли, надо же кому-то мне показаться.

Витек толкнул калитку, а пан Хенрик схватил его за рукав.

— Вон там, в тени, лучше всего. Ты мне скажешь правду. Впрочем, нет. Пусть все так и останется. Пойду на фронт, там сразит меня шальная пуля.

К чему теперь трепать нервы. Споем вместе, дорогие мои. «Через год, через день или мгновенье, может, не будет нас…» — затянул он неестественно высоким голосом старинную песню.

А на дороге почему-то перекусались лошади в артиллерийской запряжке. Орудие в брезентовом чехле кособоко катилось по канаве. Его догоняли всполошившиеся солдаты, на бегу теряя конфедератки.

— Лев Тигрович, а ты нашел клад? — спросил Витек.

— Еще нет. Но через месяц-другой найду. Почему спрашиваешь?

— И мне клад теперь понадобится.

— Начинаешь новую жизнь?

— Впервые начинаю новую жизнь.

— Почему говоришь «впервые»?

— Потому что, пожалуй, весь свой век мы будем начинать новую жизнь.

— Ох, мать вашу, поскорей бы настал вечер, а то подохну. Что у нее там между ног, ох, Витька, Витька!

— Я теперь тоже буду дожидаться вечеров.

— Уже попробовал?

— Нет, но знаю наверняка, что попробую. Чувствуешь, как пахнет весной?

— Я только ее чувствую, свою суку.

— Левка, куда ты девался? У меня кружится голова. — Цецилия опрокинулась навзничь, прикрыв глаза рукой.

— Я здесь, моя кошечка. Уже бегу к тебе.

— О Боже, Боже, прости блудниц явногрешных, — стонала за окном Путятиха.

И тут из сада вышла Грета. Мертвенно-бледная и заплаканная.

— Мне так плохо, что кажется, я сейчас умру. Ты меня слышишь, Витольд?

— Тебе надо пойти в кусты и сблевать эту мерзость.

— Нет, лучше умереть. Тут мне очень скверно, а там будет еще хуже.

— В твоей Баварии?

— В Баварии или Швабии. Что вы со мной сделали?

— Смотри и запоминай эту долину. Видишь, древние дубы на том берегу, видишь, город, словно плотина перегораживающий долину, слышишь, колокола церквей и костелов, слышишь, замедленное движение облаков, которым хотелось бы остаться тут навсегда?

— Поедем вместе, Витольд. Этого мне будет достаточно.

— Я тебя обязательно навещу.

— Когда?

— Когда ты забудешь обо мне.

— Вы меня отравили.

— Иди облегчись в кустах.

— Ох, этого не вытошнить. Вы отравили мое сознание, нет, погоди, вы, пожалуй, отравили мое бедное, немощное сердце.

Грета уронила голову, осыпав замшелый забор льняными волосами. Высоко над землей толклись тучи мошек. На дороге все еще ругались солдаты, выстраивалась заново колонна артдивизиона.

— Пан Хенрик, миленький, скажите какой-нибудь стишок, — попросила Олимпия капризным тоном.

— Я пишу теперь белые стихи.

— Пусть будет белый. Пожалуйста, букашечка, продекламируй для меня.

— Как я вас ненавижу.

— Ну, скажи стих о любви. Хотя бы самый крохотный. Вот такусенький.

Пан Хенрик взглянул против света на щербатую кружку, словно это был хрустальный бокал.

Любовь, любовь, любовь,

Любовь, любовь, любовь,

Любовь, любовь, жопа.

И тупо уставился на корявую линию горизонта.

— Это все? — спросила Олимпия.

Пан Хенрик словно отпустил с привязи голову. Она упала ему на грудь.

— Абсолютно.

— Фу, как некрасиво, пупсик. На кого обижаешься? На нас или на Господа Бога?

— На мать-природу. Перестрелял бы вас всех сегодня при ясной погоде, да пистолет уже сдал. Не стоит надрываться. Где тут смысл, где рифма, где мелодия? — И пан Хенрик машинально ощупал брючные карманы.

— Опять начинается, — вздохнула Олимпия. — До чего разламывается голова. Ночью глаз не сомкну. Где мои порошки? Только куплю, тут же пропадают. Воробьи, что ли, склевывают.

На дороге все еще скрипели воинские повозки. Порой невидимый солдат запевал удалую, отчаянную песню, но никто ее не подхватывал, и он умолкал и прислушивался к шелесту песка в спицах колес.

— Смотрите, какой кровавый закат, — почти

прошептала Грета.

— Завтра взойдет новое солнце. Чистое, светлое, веселое, — сказал Витек. — Нам же только по девятнадцать лет.

На цыпочках он вошел в дом, бесшумно улегся в постель. Остывающие стены негромко потрескивали, пищал и умолкал надоедливый комар. Пахло валерьянкой, пахло бессонницей.

— Вернулся, сынок? — спросила мать, окутанная тьмой. — Это хорошо. Я знаю, что все в порядке. Целый день молилась. Вот стакан с отваром из трав. Выпей на ночь.

— Ты думаешь, мама, это поможет?

Яростно скрипнула койка в боковушке.

— Говорят и говорят, а я ничего не знаю, никто со мной не делится.

Мать склонилась над Витеком.

— Дедушка чувствует себя лучше. Съел под вечер тарелку бульона. Велел отворить окно и слушал соловья, который живет в черной сирени.

— Нельзя же лечь в постель и заставить себя агонизировать.

— Это он из деликатности. Не хочет нам досаждать.

— Мама, жизнь все-таки имеет какой-то смысл!

Она поискала дрожащей рукой его голову.

— Слава Богу, что ты так говоришь. Значит, выздоровеешь.

— Я хотел бы, чтобы настал вечер, через неделю.

— Спи. Через неделю обязательно будет вечер.

— Только где я тогда буду? — шепнул он уже самому себе.

* * *

В те времена людей терроризировал грех. Он зависал над каждым человеком, как хищная птица, крался за человеком зловещей тенью, таился внутри человека наподобие туберкулезной каверны. Грех был вездесущ.

Грешили мыслью, словом и поступком. Грехи делились на будничные и смертельные, на главные и второстепенные. Грехов было такое множество, что трудно все их перечислить. Грехи парили в воздухе, валялись на земле, проникали в каждую клеточку огромной планеты. Грехи отвратные, как люди, и прекрасные, как люди. Грехи, подобные ядам, и грехи сладостные, как успокоительная амброзия. Грехи-уроды и грехи-райские птицы. Бытие человека было пропитано грехами, как губка водой.

Люди, погруженные по шею в море грехов, панически боялись греха. На какой-то момент они выныривали из этой пучины, чтобы тут же снова пойти ко дну под свинцовой тяжестью греха. Эту минутную свободу, секундный проблеск безгрешия давала исповедь, мистерия, когда на плечи ближнего перекладывались собственные грехи, братское отпущение грехов одним грешником другому. Но уже за порогом храма, словно клубок змей, ожидало человека хитросплетение новых грехов.

Грех прогонял сон, грех лишал аппетита, грех сокрушал даже совестливые души, хоть это и кажется неправдоподобным. В те времена случалось видеть сломавшихся под бременем греха преступников, которые до конца дней своих скитались по свету, вымаливая у людей и Бога прощение. Приходилось слышать о разбойниках, что, убоявшись греха, возвращали награбленное. Встречались даже прелюбодеи, жертвовавшие небесам свои гениталии из суеверного страха перед прегрешением.

Человек в те времена, греша, падал на дно преисподней, становился кумом и наперсником дьявола или святотатственно взмывал в небеса и становился ровней Богу. У греха были крылья,

у греха была душа божества, у греха была сила галактического оргазма.

А потом люди ненароком стали постепенно забывать о грехе. Грех перестал быть модным. Он скрывался еще некоторое время в притворах храмов, на селе, у простых людей. Пока, вероятно, в конце концов не вымер, всеми и забытый, и презираемый.

Теперь люди думали о преступлении, рассуждали о преступлении, совершали преступления, не вспоминая о грехе, так же обыденно и буднично, как ели, спали, дышали. И таким образом мир наш стал безгрешным.

* * *

Витек снял с головы студенческую шапочку. Она еще пахла еврейской лавчонкой. На козырьке застыли несколько мелких капель дождя. Витек погладил серый бархат околыша. Остались серебристые полосы, следы от пальцев. И метнул ее плашмя, как обруч серсо. Она полетела над самой поверхностью воды. Растянулась в скоростном полете и упала в реку, как оторванный рукав. Взбудораженная река увлекла ее в извилины русла и помчала к городу, обводя вокруг бесчисленных каменных глыб в воротниках белой пены.

У поворота реку переходила вброд какая-то городская парочка. Они приехали явно с эротическими целями и теперь подыскивали удобное местечко для любовных утех. Она высоко задрала юбку, он засучил штанины брюк. Парочка боролась с быстрым течением, держась за руки, к тому же занятые обувкой. Вода коварно взбиралась по ногам, мочила одежду. А они визжали, деланно хихикали, смущенные ожиданием.

Мелкий дождик зашептал в листьях ольшаника. Укрытая в зарослях птица, задыхаясь от натуги, отчаянно пиликала. Витольд крепко зажмурился и тут же открыл глаза. Но они были сухими. Отказывались плакать.

— Это невозможно, — шепнул он. — Сейчас я проснусь, и все будет хорошо.

И начал восхождение на заветную крутизну, которая поросла отцветшими анемонами. Сердце колотилось о ребра с яростным стуком.

— А если я уже никогда не проснусь?

Невидимый дождь шаркнул по кронам деревьев. Крупная капля тяжело шлепнулась на прошлогоднюю листву. Витек остановился, запрокинул голову.

Но на их балконе над обрывом никого не было. Высокие стебли трав уныло вздрагивали, сотря-

саемые дождем.

— Алина, — позвал он вполголоса. — Алина, ты здесь?

И тут из куста крушины высунулась голова диковинного зверя. На Витека воззрились огромные, круглые и черные глаза, потянулось к нему длинное рыло с решетом на конце. С минуту они смотрели друг на друга. Потом диковинная рожа скользнула вниз, а под ней обнаружилось улыбающееся девичье лицо.

— Ты опоздал на полчаса. Я промокла насквозь. Взгляни, какой противогаз привез мне отец. Настоящий, армейский.

Витек тяжело опустился на мокрую траву. Алина стояла над ним с противогазом в руках, напоминающим голову гигантского насекомого.

— Витек, что случилось?

Он отрешенно смотрел перед собой. По той стороне реки шла группа солдат. Один тащил на спине металлическую катушку, с которой раскручивался черный кабель. Другой, с накинутым на голову мешком, поддерживал болтавшийся провод палкой-рогулькой.

— Почему ты молчишь?

А Витек слушал самого себя. Капли дождя стекали со лба на ресницы, нависая неимоверным

грузом над темным горизонтом.

— Нет, это невозможно. Ты срезался? — спросила она встревоженно.

Витек молчал. Вероятно, обрывки мыслей, как перья подстреленной птицы, мельтешили у него в голове, которая гудела от пульсирующей крови. Он глуповато улыбался, не в силах унять эту нелепую улыбку.

— Господи, да отзовись же наконец. Ты провалился на экзаменах?

Алина опустилась рядом с ним на колени и зачем-то бездумно принялась запихивать в жестяную банку свой противогаз. Где-то далеко тяжело заскрипел товарный состав.

— Что теперь будет? — шепнула она, сдерживая дрожание губ.

Витек перевел на нее взгляд. Мокрая белая блузка облепляла плечи и грудь. Волосы закудрявились от дождя и напоминали покинутое ласточкино гнездо.

— Не знаю, что будет, — произнес он охрипшим голосом.

— Может, в канцелярии перепутали? Ведь ты же родился в рубашке.

— Судьба или случайность. Впервые в жизни мне дали пинка. Даже не верится, но это так.

Солдаты остановились на шоссе. Тот, что с мешком на голове, прикреплял телефонный провод к стволу высохшей акации. Винтовки, висевшие у солдат за спиной, были нацелены в землю, чтобы стволы не заржавели от сырости.

— Мы сбежим? — спросила она робко.

— Ты знаешь, сколько им стоила моя учеба? Ведь они вкалывали с утра до ночи, чтобы я мог закончить гимназию. Как я скажу матери?

— Ты соврал?

— Да, обманул всех. Вышел из дома в студенческой шапке. А потом бросил ее в реку. Конец. Уже ничего не вернешь.

— Можно сдать в будущем году экстерном.

— Никогда ничего не буду сдавать, потому что не доживу до будущего года.

— Я виновата?

— Ни ты, ни я. Это вина неизбежности.

— Какой еще неизбежности?

— Если бы знать. Неизбежности, которую я мог бы отвратить, но не отвратил.

— Ты меня любишь?

— Взгляни, этот дождь почти красный. Капли розового оттенка.

— Витек, тебя определенно лихорадит. Ты давно болен и как будто не замечаешь этого.

— Я читал когда-то, что иногда выпадают красные дожди. Люди считают их предвестниками бед и катаклизмов.

— Ты меня любишь?

— Ах, Алина, Алина, теперь это больше, чем любовь. Это страшная петля, затянутая на твоей и моей шее.

— Почему ты приударил за мной тогда? Ведь не замечал же столько месяцев. Мы могли бы разминуться навсегда.

— Теперь жалеешь?

— Ни о чем я не жалею. Просто думаю о тебе. И готова на все.

Городская парочка, держась за руки, сбегала по противоположному склону в дубняке. Они все еще подыскивали местечко для своей любви и не могли найти в этот ненастный день.

— Что это значит? — спросил он тихо.

— Вот именно. Это значит — все.

— А моя звезда погасла. Мне незачем жить.

— Нам обоим незачем жить.

— Погасла моя звезда. Звезда самого знаменитого врача на свете. Я должен был искупить вину без вины виноватого отца.

— Дай мне руку. И слушай. Грядет война. Она все переменит. Сотрет с земли прежнюю жизнь,

посеет новую. Может, стоит подождать?

— В данную минуту мне совершенно безразлично, будет ли война, нет ли. Объясни мне, как могло такое случиться? Почему Бог, судьба, случай врезали мне обухом в лоб? Почему так подло, внезапно, без предупреждения?

— А может, все-таки стоит жить дальше, переждать трудные времена, чтобы потом со снисходительным недоумением вспоминать эти мелкие осколки поражений и удивляться тому, что когда-то они столько значили для нас, хотя так мало оставалось до рокового шага?

— Ты права, меня снедает амбиция. Я смертельно болен амбициозностью. Я бессмысленно страдал всю жизнь.

— Я никогда не упрекала тебя в амбициозности.

— Ты права. Я болен. Я болен максимализмом. Все или ничего.

— А если это просто истерия?

— Истерия тоже прекрасная болезнь. Она дарует благостную, тихую, сладостную смерть.

— Что с тобой произошло?

— А что с тобой творится? Почему ты околдовала себя и меня, нас, кому было суждено явить миру настоящих влюбленных, первых от сотво-

рения мира?

— Мы околдовали друг друга.

— А меня уже все поздравили. Мать ждет с праздничным ужином. Развязала узелок, свой заветный сейф, и пересчитывает деньги, отложенные на плату за университет. Как это получилось, почему именно меня постигла такая кошмарная катастрофа? Нет, я не позволю столкнуть себя в сточную канаву.

Алина коснулась холодной, мягкой ладонью его волос.

— Я вместе с тобой пойду на дно.

Он рывком отстранился.

— Из жалости?

— Ты прав. Дождь красный. Оттого, что заходящее солнце показалось из-за туч. Слышишь, снова эти цимбалы?

На том берегу реки у подножья холмов стлался прозрачный синий дым, сочившийся из трубы старой усадьбы. Солдаты уже скрылись в потемневшей зелени возле Пушкарни.

— Кто-то за нами подглядывает, — шепнул Витек.

— Откуда?

— Из кустов орешника.

— Это Рекс. Иди сюда, теленочек, позабавь нас.

Но пес лежал неподвижно в гуще влажной листвы и напряженно смотрел на Витека.

— Может, мы тоскуем по самоуничтожению?

— Не знаю. Скорее всего, мы объелись литературой. Наше поколение отравлено вымыслами.

— Таким образом общество подготовилось к войне.

— Плевать мне на войну. С меня хватит собственной беды.

Под ними, на дне оврага, вздыхала Виленка. Она несла теперь мутную, бурую воду и крошево мхов, трав и изломанных веток. Дождь лепетал бездумно.

Они обнялись, чтобы согреться. Сквозь белую блузку боязливо просвечивала кожа худеньких плеч. Витек взглянул ей в глаза, бездонные, как лунные кратеры. Ощутил горячее дыхание на виске.

— Давай отравимся окончательно.

— Что ты сказала? — переспросил Витек, пытаясь собраться с мыслями.

— Давай убьем друг друга. Ты меня, а я тебя.

— Не боишься вечности, которая впереди?

— С тобой я ничего не боюсь.

Свист паровоза бесконечно долго умирал у каменной стены города. Собачьи глаза рдели

в кустах орешника. Какая-то птица наискось пролетела под ними, словно отыскивая что-то во вспученной реке.

Алина беззвучно шевелит губами, но он разгадывает смысл неизреченных слов.

— Раздобудешь для меня яд?

— Для себя я давно приготовил. Словно шпион-инопланетянин.

— А я поднесу тебе яд, безболезненный, как приворотное зелье. Лучше уж умереть от любви.

— Да, лучше всего умереть от любви. Пусть далее выдуманной.

— У нас все выдумано. Я придумала тебя, а ты — меня.

— Разобьем вдребезги наши выдумки на грани небытия.

— Я приду утром в этот же час в белом платье.

— Почему в белом?

— Потому что сначала мы обвенчаемся. Такова моя воля.

— Обвенчаемся по любви. Но я тебя почти не знаю.

— И уже никогда не узнаешь.

— Может, узнаю, если Бог простит.

— Если Бог есть, то простит.

Они становятся друг перед другом на колени,

промокшие насквозь от дождя. Снизу уже медленно подымается вечерний холод. В старинной усадьбе, неизвестно кем обжитой, вспыхивает розовым светом первое окно. Цимбалы звенят тихонько, как телефонные провода.

— До завтра, любимый.

— До нашего последнего полдня, любимая.

— До последней нашей минуты.

— До начала бесконечности.

Витольд бежит по лугу, вымоченному дождем. Влажные высокие травы хлещут его по ногам. Ему хорошо и тепло.

— Я уже никогда не получу работу, не потеряю ее. Никогда не простужусь холодной зимой и не буду с трудом выздоравливать до самой весны. Никогда не похороню родной матери и не убаюкаю на руках новорожденного ребенка. Никогда не буду страдать и не порадуюсь отсутствию страданий. Никогда не узнаю правды и никогда не испытаю жгучей тоски по правде.

Пес-великан по имени Рекс бежит за ним по лугу, словно по илистому дну пруда, и лает в отчаянии.

* * *

Верность до гробовой доски. Нам сообщили из Львова о беспрецедентном случае привязанности животного к человеку. Отставной чиновник казначейства приручил ворона. Птица ежедневно прилетала на балкон к пенсионеру и проводила там долгие часы в дружеских играх с престарелым хозяином. Соседи свидетельствуют, что ворон пытался даже научиться человеческой речи. Неделю назад пенсионер скончался от воспаления легких и был погребен на местном кладбище. А верная птица ежедневно посещает балкон, проявляя подлинно человеческую скорбь.

* * *

Витек хотел пересечь железнодорожное полотно незамеченным, но его увидели.

— Витольд, ты не хочешь даже попрощаться? — крикнул Энгель.

Компания в полном сборе стояла на раскаленной плите платформы. Только патефона не

хватало. Витек неохотно повернул к ним, подошел без энтузиазма.

— Мы разыскиваем тебя битый час, — заметил Лева. — Мать сказала, что ты прифорсился с самого утра и исчез. На свадьбу, что ли, торопишься?

— Оставьте его в покое, — сказала Цецилия. — Это уже взрослый человек. И у него свои проблемы.

Солнце припекало немилосердно, как всегда после дождя. Старый Баум вытирал лицо и лысину большим платком с готической монограммой. По путям шагали двое полицейских в зеленых армейских мундирах, но фуражки были прежние, круглые и синие. Они лениво осматривали рельсы, над которыми дрожал густой воздух. Полиция взяла на себя надзор за железной дорогой.

— Витольд, Витольд, — тихо произнесла Грета. — *Was machst du da?* Что ты там делаешь?

Она стояла в окружении огромных чемоданов в парусиновых чехлах. Белые волосы заплетены в косу, уложенную короной, отчего голова казалась маленькой.

– *Wer reitet so spät durch Nacht und Wind…* Кто скачет, кто мчится под хладною мглой? — пробурчал он в ответ.

— Ведь она уезжает, — сказал Энгель. — Уезжа-

ет и неизвестно когда вернется.

— Грета уезжает?

— Забыл? Да что с тобой творится?

— Взгляни, какое странное солнце. Впервые вижу такие четкие очертания.

Только Грета подняла голову, чтобы взглянуть на небо, но у нее тут же заслезились глаза от ослепительного блеска.

— Каждый день это солнце будет приходить ко мне с весточкой от вас.

— И луна, — дополнил пан Хенрик. — Луна ведь тоже перемещается с востока на запад.

— Вы правы, — шепнула Грета. — Зато тучи сюда всегда приходят с запада.

— Тсс, — прошипел Витек. — Послушай на прощанье нашего жаворонка. И я послушаю.

Все вдруг умолкли, а в пронзительной голубизне что-то тихо запело, словно бы далекий колокольчик костельного служки.

— Дай же хладную руку свою, и в глаза мне взгляни, и скажи… — затянул, фальшивя, техник-дорожник.

— Ничего я не скажу, — решительно отрезала Грета. — Вот увидите, я обопьюсь там шнапсом или баварским пивом, оскандалюсь, и в конце концов меня запрут в надежный немецкий дом

умалишенных.

– *Was sagst du, mein Schwänschen?* — забеспокоился старый Баум. — Что ты говоришь, моя лебедушка?

Под Новой Вилейкой нарастал приглушенный шум поезда. Рука семафора поднялась с надсадным скрежетом. Витек заметил, что Грета уже давно не сводит с него потемневших глаз. Хотел улыбнуться, но тут она простерла к нему длинную, узкую ладонь с голубыми иероглифами просвечивающих жилок.

— Грета, хочешь, я приду к тебе?

— Когда? — Теперь она улыбнулась недоверчиво. — Когда ты придешь?

— Это зависит от тебя. Могу прийти завтра, или через месяц, или через год. Только не пугайся, я приду ночью. Хочешь?

— Переутомился от экзаменов, — заметил стоявший в сторонке пан Хенрик.

Но Грета улыбнулась, превозмогая упрямую дрожь в уголках рта.

— Разумеется. Я буду ждать каждую ночь. Заметано.

Витек взял ее руку, поднес к губам.

— Не так. Горе ты мое.

Грета порывисто обняла его, неловко поце-

ловала, словно осуществляя слишком давно задуманное.

— Расцвела она по весне, — прокомментировал техник-дорожник, нелегко удерживая равновесие. — Жаль, что уезжает.

Из ошалевшей, разбухшей от соков зелени выполз поезд дальнего следования. Он гасил скорость, поскольку подкатывал к станции с невидимого возвышения. И таращил на ожидающих, как слепой зверь, замалеванные голубой краской фонари.

— Она ведь тоже собрала вещички, — негромко промолвил Лева.

— Кто?

— Та, другая. Денщик все утро грузил чемоданы в машину.

Подъезжал поезд, толкая перед собой нагроможденье облаков пара, перевитых струйками дыма. Оторвавшиеся белые клочья сносило на луг, за шпалеру елочек, где они потерянно блуждали среди разомлевших кустов можжевельника.

— Когда она уезжает? — спросил Витек.

— Сегодня ночью. Наленчи удирают в Краков или, скорее, во Львов.

— А как ваш императорский клад?

— Сейчас нет смысла откапывать. Откопаем после войны.

Поезд останавливался, скрипя тормозами.

– *Mein Gott!* Мой Бог! — Старый Баум бегал вдоль вагона с закрашенными голубыми окнами. — *Du bist verrückt, Schwänschen.* Ты сошла с ума, лебедушка.

— Да ладно! Да ладно! — приговаривала Грета, размазывая слезы ослепительно белой рукой.

— Быстрее тащите чемоданы, а то останетесь! — крикнула Олимпия.

— Господи, какие тяжелые, — стонал пан Хенрик. — Что они там вывозят?

— Дурные предчувствия и пять пудов страха. Грета, помни об Олимпии, которая всегда тебе сочувствовала. Пришли мне цветную открытку. Я очень люблю получать послания.

— Да ладно, — шепнула Грета уже в дверях вагона с затемненными окнами.

— Как недавно был май, и мы счастливы были и так нежно любили. Кто вернет эти дни — уж промчались они. Ах, волк тебя заешь, я надорвался из-за этих проклятых чемоданов. Гуд бай, до свидания! — прокричал пан Хенрик.

— Возвращайся скорее, детка. Мы будем тебя тут ждать.

— После войны найдем тебе настоящего кавалера.

— Иди ты, не каркай, — захлюпала носом Цецилия. — Кому нужна война? Не будет никакой войны. Постращают, постращают, и как-нибудь уладится. Возвращайся к нам, беленький цыпленочек.

— Будь что будет, — разревелась Грета.

Поезд сдал назад. И тут Витек вдруг нырнул в терпкий пар, клубившийся перед локомотивом.

— Спятил! Держите его!

Влажный дым защипал глаза. Красные буфера преградили дорогу. Витек разминулся с ними в последнее мгновение, и вот он уже по ту сторону полотна. Огромные колеса с диким гоготом буксовали у него за спиной.

— Успел, — шепнул он. — Добрая примета. Только к чему мне добрая примета? Пусть будет — для них. Для тех, кто останется.

Витек сбежал вниз, к шпалере ровно подстриженных елочек, которые предохраняли железнодорожную линию от снежных заносов. Поезд уже взбирался на очередную невидимую возвышенность. Белая пена пара скатывалась с насыпи, розоватой от цветущего клевера.

— Не жаль тебе всего этого? Страхов, тревог,

маленьких радостей, нелепых и забавных минут, боли, усталости, ежедневного риска и ежедневных несбывающихся надежд? Долой. Долой слабость.

Поезд с голубыми окнами, похожими на очки слепцов, поезд, увозивший Грету, втягивался уже в буйно-зеленое ущелье, заполненное грохотом, подобным учащенному сердцебиению.

Потом Витек бежал пестрым, как палитра, лугом и остановился только у подножья крутого глинистого склона с ошметками подмытых кустов и чахлых, болезненно поникших трав, которые оторопело следили за неровистым бегом Виленки, бешено мчавшейся к городу.

А она ждала на травянистом выступе, напоминавшем гнездо аиста. Стояла в белом длинном платье, с ромашками в волосах. Робкий ветер осторожно шевелил блестящую материю платья. Вокруг распевали хоры всех птиц, обитавших в долине.

— Здравствуй, — сказал Витек, карабкаясь наверх.

Она протянула ему руку, помогая подняться.

— Здравствуй, любимый. Не поздравишь меня? Сегодня день моего рождения.

— А что я могу тебе пожелать?

— Чтобы исполнилось мое последнее желание.

— Пусть исполнится твое последнее желание.

— Сядь здесь, рядом со мной.

— Ты испачкаешь платье.

— Больше оно мне уже никогда не понадобится. Они сели лицом к реке, лугам, хаотическим нагромождениям зелени, красным крышам французской мельницы и побелевшим руинам Пушкарни. На лугу паслись степенные аисты, поодаль, возле кустов, скакал любознательный заяц, который то и дело замирал, привставая на задних лапах, и к чему-то жадно прислушивался. Над гладью стремительной реки взлетали жирующие рыбы. Воздух радостно трепетал от зноя первого летнего дня.

— Ты готова?

— Да, а ты?

— Я тоже готов.

— Может, все-таки о чем-нибудь жалеешь?

— Нет. Я ни о чем не жалею.

Стайки пестрых бабочек играли у края обрыва с горячими потоками солнечного света, которым удавалось пробиться сквозь гущу молодой листвы деревьев, шумящих певуче, по-белорусски.

— Какая ты сегодня красивая.

— И никогда уже не буду красивее. Обними

меня.

Витек обхватил ее рукой и сразу почувствовал под шелковой тканью платья нежную податливость обнаженного тела.

— Поцелуй меня.

Витек поцеловал ее в губы, а она вдруг открыла рот, и он рухнул в обжигающую бездну, пахнущую мятой, ромашкой, ранним пробуждением.

— Люби меня, — пробормотала она, опрокидываясь на жесткий серебристый мох.

И он впервые в жизни постигал науку обладания. Нашел нагое тело в холодном снегу платья. Ласкал золотистые груди, налитые пульсирующей кровью. Почувствовал вкус окаменевших в ожидании сосков — вкус полыни, прогретой солнцем. Увидал впадину живота, заполненную горячей тенью. И открыл тайну, бесстыдно выданную ему в первый день лета.

И тогда загудела вся кровь, как могучий ураган. И, гонимый инстинктом, он рванулся в эту ошеломляющую сладость, сокрушая мучительное сопротивление, устремляясь навстречу нереальному по своей беспредельности блаженству.

А она зашептала хрипло, как сквозь стебли травы:

— Это ничего. Это ничего. Это ничего…

И помогла инстинктивно, и вдруг поглотила его, болезненно вскрикнув прямо ему в лицо. И оба полетели в тартарары сквозь шум ветра, сквозь наэлектризованные тучи, сквозь пламя взрывающегося солнца.

— О, Боже немилосердный, о, проклятый рай, да будет так всегда, да будет так во веки веков, — хрипела она каким-то чужим, нечеловеческим голосом.

А потом Витек очнулся и с удивлением смотрел на ее мокрое лицо. Пепельная прядь волос льнула к виску. Губы едва заметно дрожали, словно под бременем капельки голубоватой слюны. От нее исходил жар усталого тела.

Его не заботили ощущения девушки, ибо сам он пережил нечто подобное впервые. Лежал изумленный, прислушивался к себе, к рассеянному бормотанию реки и звукам оживших цимбал.

Деревья в молодой листве склонялись над ними, теплые дуновения приносили целый букет благовоний цветов и трав, что росли тогда в любой долине, облака с любопытством задерживались у края обрыва.

Алина лежала обнаженная, недвижимая, глядя в небо. Он осторожно прикрыл ее краем платья.

— Уже нет смысла стыдиться, — сказала она

тихо.

— Уже нет смысла стыдиться, — повторил он тихо. — А за что сослан Сильвек?

Алина прижалась щекой к его плечу. Теплая, летучая слеза на мгновенье соединила их тела.

— Он был репетитором у лицеистки. Занимался с ней польским языком, историей, биологией и в конце концов влюбился. А она была еврейка.

— Когда же людей ничего не будет разделять?

— Всегда будет что-нибудь разделять. Может, равнодушие, скука или просто отсутствие интереса друг к другу.

Где-то в недрах города пронзительно просвистел паровоз. Наверное, тот, который увозил Грету и старого Баума.

— Ты готова?

— Да, — ответила она грустно.

— Мы можем еще передумать.

— Уйдем теперь, пока мы прекрасны. Ведь вскоре все равно начнется постепенное умирание.

— Но ведь я чувствую, что здесь что-то не так.

— Это не потому.

— А почему?

— Давай спустимся к реке. Нам понадобится вода.

Витек помог ей встать. Платье соскользнуло на

колени. Густые поперечные морщины и приставшие к шелку серые волокна мха уже портили его. Начали спускаться, хватаясь за влажные, набухшие соком ветки кустов. И тут с замиранием сердца он увидал красное пятнышко на подоле ее платья, как от раздавленной ягоды земляники. Поймал в воздухе ее руку, пахнущую хвоей, и поцеловал горячую ладонь. Она взглянула на него с удивленной улыбкой. За рекой заржала лошадь. Она промчалась норовистым галопом по лугу, по зарослям лозняка, выскочила на шоссе и, бренча подковами по булыжнику, понеслась к городу.

Сошли на берег, в гущу высоких ярких цветов, благоухающих медом и летней ночью. Тысячи мошек роились над венчиками. Водомерки, словно гидропланы-бипланы, скользили по реке. Виленка повысила голос, звучала, как фисгармония.

Алина подобрала подол платья и вошла в мелкую воду. Витольд, скинув праздничные туфли, последовал за ней. Они стояли на скользких камнях, быстрое течение щекотало ступни.

— У меня это в облатке, — сказала она, раскрыв ладонь.

Он увидал круглую коробочку, похожую на белую костяную шашку.

— А у меня в землянике.

Витольд показал кружечку, из которой пил по утрам кофе, кружечку, полную теперь ягод, словно слепленных сахарной пудрой. Его все еще донимало ощущение, будто получилось что-то не так, как нужно. Только теперь, посреди реки, он заметил, как она бледна. Черты лица заострились, потемнели странные глаза и не напоминали уже кратеров на видимой стороне луны.

— Сначала простимся?

— У нас будет достаточно времени для прощания.

Наверняка его брало искушение спросить, будет ли больно, и очень ли больно, однако после долгой паузы он прошептал:

— Кто первый?

— Могу быть я.

— Нет. Умоляю. Как-никак я же мужчина.

Алина чуть заметно улыбнулась. Длинные предвечерние тени уже перегораживали реку, которая бурлила у подмытых коряг, выполосканных камней, под тающими навесами рыжей глины.

— Хорошо. Только я хотела бы сама тебе поднести.

— Может, лучше я это сделаю. Если это грех, он будет на моей совести.

— Так прими же из рук моих, супруг мой.

Шагая по мутноватой воде с распластанными водорослями, Витек подошел к ней вплотную и открыл рот, как в ожидании причастия. Ее пепельная прядь беспомощно моталась у виска. Алина посмотрела прямо в глаза и дрожащими пальцами положила ему на язык белую облатку, пахнущую сочельником. Он невольно зажмурился.

Она наклонилась, зачерпнула воды в пригоршню, и он испил влагу, настоянную на лесном холоде. Золотистые капли с ее пальцев падали, как искорки, в темную реку.

— Мы не нашли монету, с которой все началось, — сказал Витек, стирая с лица и шеи струйки воды.

— Она нам больше не нужна. Давай твои ягоды.

Алина поднесла кружечку к губам, вытряхнула обсыпанные чем-то белым ягоды в открытый рот. Теперь он набрал воды в пригоршню, ей запить.

— Ранняя земляника, — улыбнулась девушка, проглатывая горсточку ягод. — Откуда ты знаешь, что я люблю землянику?

— Я подумал, что будет лучше, если сам насобираю.

— Пошли, выйдем на берег. Пусть река останется безгрешной.

Они прилегли в цветах, которые кололись мелкими, невидимыми шипами. Облака с позолоченными солнцем краями отчалили от горизонта и поплыли на северо-восток, в Арктику.

— Обними меня, — шепнула Алина.

Он подсунул руку под ее беззащитную голову в ореоле шелковистых волос.

— Поцелуй меня.

Он коснулся мокрыми от речной воды губами ее уст. И вдруг им овладела нелепая, слепая, бессмысленная страсть. Увидал в вырезе платья ее грудь, уже потерявшую стыд, со съежившимся в последнем приступе страха соском.

— Пожалуй, мы не будем страдать, — шепнула она ему на ухо. — Заснем и никогда уже не проснемся.

Божья коровка задумчиво ползла по белому платью, которое наверняка было для нее безграничной снежной пустыней.

— Где истина, где ложь в пережитом нами?

— Это не имеет теперь никакого значения, супруг мой.

Божья коровка взбиралась уже на грудь, прихваченную предвечерним холодком. У Витольда

заколотилось сердце. Ему захотелось снова подмять девушку под себя, разрывать ее, терзать.

— Что случилось?

— Меня одолевает похоть, супруга моя. Ты дала мне приворотное зелье?

Алина улыбнулась через силу, мимолетно. Она смотрела невидящими глазами в небо, которое, казалось, звенело, как стеклянное. Но это соседний храм напоминал, что настало время вечерни.

— Уже слишком поздно. Я, кажется, ухожу.

Она поискала его руку. Пальцы их сплелись.

— Прощай, любимая. Спасибо тебе за все. Спасибо тебе за смерть.

— И я тебя благодарю. Если бы ты знал, как я тебя люблю. Как я тебя любила.

— Несмотря ни на что?

— Спасибо за все.

Над их головами жалобно пели комары. Порой пролетала стрекоза с громким, механическим шелестом крыльев. Усердно шумела листвой грустная верба. А из кустов и высоких трав струился густой аромат ромашки, чабреца, дикой смородины.

— Ты еще слышишь меня? — шепнул Витек.

— Слышу, хотя очень издалека. Скоро мы все

узнаем.

— Если есть что узнавать.

— Теперь мне все равно.

— Спи, моя любимая.

— И ты спи сладко, мой любимый.

* * *

Витольд просыпался медленно, постепенно, поочередно воспринимая тоскливый полумрак осеннего дня, знакомую, как домашние животные, утварь и ноющую в недрах утробы боль. Эта боль никогда не унимается, она постоянно бодрствует и, склонная к агрессии, навязчиво сопутствует ему повсюду.

— Где же я был? — спрашивает он себя, глядя на черные космы паутины, угнездившиеся по углам, где стена смыкается с потолком. — Снова был там, где мне всегда хорошо, куда постоянно крадусь во сне или мысленно, впадая в тоску. Хорошо убегать от будничного прозябания в какое-то выдуманное будущее, в несбывшиеся варианты судьбы, в эйфорию разыгравшейся фантазии. Хотя лучше отправиться проторенным путем вспять, вернуться к родному гнезду, вмешаться в толпу людей, еще не ведающих своей участи, рядиться в шкуру юнца, переиначивать проис-

шествия и события, углубиться в таинственный и тревожный тоннель предыстории, не доискиваясь ни в чем смысла, логики, оправданий, желая лишь обрести быстротечный час отрады.

Витольд включает лампу, которая услужливо превращает оконные стекла в мутные зеркала с оспинами капель осеннего дождя. Нажимает клавишу черной коробочки транзисторного приемника. Слышатся фортепианные позывные радиостанции.

Без удивления рассматривает свое отражение в зеркале. Это лицо — назойливый спутник повседневности. Общение с ним начинается с утреннего бритья. А до этого оно еще мелькнуло ночью на чужом туловище, по чьему-то злому умыслу. Потом на протяжении всего дня это лицо возникает по любому поводу. То выскочит из зеркала в магазине и воззрится на Витольда с глуповато-добродушным и словно бы идиотски-извиняющимся видом. То лукаво выглянет из уступчатых уличных витрин. То вызовет перехватывающее горло воспоминание, наложившись на физиономию случайного прохожего.

О чем напоминает это назойливое лицо, от которого невозможно избавиться? Напоминает оно о каком-то буйно разросшемся саде, который

время и судьба превратили в пустошь.

Приходится жить с чужим, противным тебе телом. С телом, которое вызывает отвращение, как плоть постороннего человека. Какие-то бурые пятнышки выступили на коже предплечий, облепили тыльную сторону ладоней. Ноги опутаны вздувшимися венами, словно стеблями вьющихся сорняков. Живот оброс студенистым жиром, который мятыми складками расползается к груди, спине, ягодицам. Отвратительны дряхлеющие тела, а собственное омерзительнее всех.

Боль оживает тотчас же, обрадованная пробуждением сознания. И принимается за дело, как древоточец. Сперва на второй скорости. Потом включает третью, четвертую и, наконец, ту невыносимую сверхскорость, беспощадную, грубо домогающуюся морфия. Но морфия уже нет. Ни один врач в городе не желает выписать рецепт. Им давно знакомы его плаксивые телефонные звонки в полночь или на рассвете. Потерпите, говорят, следует ожидать поправки. Ведь это всего-навсего язва желудка. Правда, вырезано три четверти кишечника. Но боли наверняка рефлекторные либо невралгические. Надо ждать.

Однако Витольд знает, хоть никому этого не говорит, что там, у него внутри, среди остатков

кишечника, обитает хищник, куда более беспощадный, чем пиранья. Капризный, яростный, способный напасть невзначай и замучить насмерть.

За окном преждевременно догорает день. Голые ветви сонно копошатся в отвислых животах облаков, которым некуда спешить. Дождь время от времени старательно хлещет по стеклу. Огромное, словно гигантская базилика, здание спрятало шпиль в густом тумане и дремлет, укутанное серым пухом мокрого снега.

— Не будет уже никаких эффектных сюжетов в жизни, — говорит Витольд, подымаясь с тахты, своего постоянного лежбища, и лавируя среди мебели, которой многовато по нынешним временам. Она покорно доживает свой век вместе с ним. — Вся жизнь пролетела без сюжетов, даже не приближаясь к кульминационным пунктам. Этакая полужизнь. Половинчатые поражения и половинчатые победы. Не слишком много, не слишком мало. Ни грустно, ни весело. Ни два, ни полтора. Лишь под конец нечто забористое, впечатляющее и драматичное. Этот подвижный, энергичный, себялюбивый гость, воцарившийся во внутренностях. Пожалуй, не выдержу я до следующей ночи.

В старом кресле лежит огромный кот, свернувшийся в полосатый клубок, чтобы не упустить тепла. Открыл глаз, равнодушно взирает на своего господина. Молчаливый и бездумный свидетель остатков жизни Витольда. Он один безразлично внемлет ночным стонам своего хозяина и со скучающей мордой принимает его монологи в редкие минуты необоснованного оптимизма. Кот дремлет уже пятый год, безгранично уверенный в бессмертии своей души. Он явно вознамерился переждать весь этот абсурд, неизвестно почему дарованный ему природой.

— Кого бы нам навестить сегодня, Эмануэль? — вопрошает Витольд своего фальшивого друга, который с высокомерной брезгливостью закрывает равнодушный глаз. — Не будем никого навещать. Никто ничего мне не скажет, чего бы я сам не знал. Никто мне теперь уже не поможет. Я остался один на один. А, собственно, с чем я остался один на один? Как бы это назвать, Эмануэль? Может, крайностью. Крайность — емкое слово. Чего только в нем нет. Настоящее ассорти. А может, выберемся в мою долину? В варианте — наяву, ты знаешь, о чем я говорю, дорогой мой тупой самодур.

Витольд поднял телефонную трубку. Раздался

гудок. Значит, аппарат исправен. Набрал две цифры и, поразмыслив, отложил трубку. Где-то за третьей стеной ревел младенец, темпераментно, с поразительной алчностью, в сущности победоносно.

— Не презирай меня, дорогой Эмануэль. Я не преждевременно состарившийся истерик, который смотрит на мир сквозь призму своего геморроя. Я не заражаю окружающую среду своей прокисшей грустью. Ни от кого не требую, чтобы хныкал вместе со мной. Совсем наоборот, Эмануэль. Со временем я выработал у себя чувство юмора, вытесал прочные оглобли, которые, словно буфера, ограждают меня от всех, а следовательно, создают дистанцию. Я ползу с соблюдением дистанции. Значит, все в порядке. Хотя лучше было бы все же втихую, без шума, умереть скоропостижно.

Витольд набирает номер «точного времени». Замечает при этом, что ногти неизвестно почему у него трескаются вдоль, а на концах крошатся, как вафли.

— Пятнадцать часов двадцать семь минут, пятнадцать часов двадцать семь минут, — повторяет женский голос с ученической артикуляцией.

— Эмануэль, ведь я вижу, что ты меня прези-

раешь. Поверь, я тоже презираю себя. Правда, в данную минуту чуть меньше, ибо уже кольнуло в печени или толстом кишечнике, и чувствую, что сейчас начнется. Моя судьба ординарна, нечто из области статистики, и поэтому, Эмануэль, я не осмеливаюсь обобщать. Готов даже вычеркнуть себя из сводных таблиц, чтобы не нарушать пафоса статистических данных. Ты лентяй, Эмануэль, и тебе не захочется сопровождать мою персону в странных скитаниях на пороге ночи. Впрочем, может, ты согласишься сопровождать меня духовно, то есть твое личностное начало последует за мной в погоне за скромными приключениями? Боже, как болит. Битое стекло проглотил бы, лишь бы перестало. Но я уже не навязываюсь тебе, Эмануэль.

Кот вытянул передние и задние лапы, растопырил короткие пальцы с крючковатыми когтями. Разинул пасть в безнадежном рывке, физиономия его на секунду приняла выражение невероятной, наглой хитрости.

Витольд надевает куцый плащ из болоньи, находит черную кожаную фуражку. Наконец по привычке берет транзистор.

— Выключим, как всегда, на всякий случай электричество, перекроем воду. Как эта мебель

состарилась. Погибает оттого, что ею не пользуются. Ага, еще ты, Эмануэль. У тебя должен оставаться неприкосновенный запас, на всякий случай.

Витольд открывает две банки с детским паштетом и выгребает клейкую массу на тарелку с засохшими объедками. Кот возникает под рукой, подхалимски выгнув спину, вдруг начинает преданно урчать. Но, мимоходом обнюхав тарелку, с явным разочарованием тут же принимается закапывать лапой угощение.

— Итак, прощай, Эмануэль, — говорит от дверей Витольд. Минуту стоит, словно ожидая телефонного звонка. Однако телефон умер уже давно, даже неизвестно когда. — Может, увидимся, а может, и не увидимся.

Витольд спускается по ступенькам узкой и запущенной лестничной клетки. В чьей-то квартире грустит Бетховен, транслируемый по радио. Ветер, который заждался у дверей, врывается на лестницу с истерическим шумом, прихватив с собой кучу сухих и мокрых листьев.

На улице, у мемориальных досок, увековечивающих память жертв войны, мечутся огоньки в пластмассовых плошках. Тот же вездесущий ветер срывает с древков бело-красные флажки.

Бойскауты в промокших мундирчиках несут караул у мемориальных досок, выкованных в форме военного креста.

— А у меня больше смертей позади, нежели впереди, — говорит Витольд, кутаясь в скользкую, холодную, как плесень, болонью. — Собственно, вся смерть уже позади. Сколько близких, друзей, знакомых лежать осталось в темноте. Мудра смерть первооткрывателя, достойна смерть государственного мужа, прекрасна смерть воина. А моя смерть нужна только мне.

В витрине магазина отчаянно мигает телевизор. Мрачное изображение каких-то намокших могил и качающихся деревьев безнадежно борется с помехами, которые в конце концов побеждают.

— Пойдем, Эмануэль, если хочешь, к реке, в тот глубокий овраг, заполненный шепотом дождя и жалобами мертвых листьев, гонимых, как и люди, нечистой силой.

Где-то в облаках или под ними гудит реактивный самолет, который, вероятно, не может приземлиться в такую погоду и кружит тревожно, как птица, заблудившаяся в тумане. У забегаловки мокнут алкаши без гроша в кармане.

— Хорошо бы с кем-нибудь попрощаться. Не-

красиво уходить молчком.

Навстречу семенит торговка с охапкой белых хризантем и корзиной стеариновых плошек.

— До свиданья, уважаемая. — Витольд учтиво приподымает кожаную фуражку.

Торговка плутовато косится на него, раздумывает и откланивается на всякий случай.

Против ветра шествует трамвайщик, подняв барашковый воротник.

— До свиданья, уважаемый.

— Пошел ты, хрен моржовый.

Трамвайщик оглядывается со злостью. А Витольд уже чувствует, что враг его начинает взбираться по внутренностям вверх, под самое сердце. Перед ним лестница, сбегающая к набережной. Скауты спешат на посты. Топают по бетонным ступенькам.

— До свиданья, дети.

— Доброй ночи, спать до полночи, чесаться до зари.

И они удирают в сырую темень парка, радостно хихикая.

Витольд нажимает клавишу транзистора. Сразу несколько станций борется за первенство. Сквозь шум прорывается голос кукушки. Нет, это не кукушка. Это крик какого-то экзотического

инструмента.

На набережной его встречает ночная тишина. Слышно только бормотание близкой реки, такое же монотонное, как у всех рек на свете.

— Уже столько лет мчит она неутомимо свои воды, — шепчет Витольд. — Там, наверху, деревянный костел с умершей женщиной на катафалке. А левее, в непроницаемой влажной тьме, бренчат цимбалы, как разбуженный поздней осенью комар. Минуточку, Эмануэль, где-то тут должна быть железнодорожная насыпь. Взойдем-ка на пути, по которым все разъезжались по белу свету. — Он карабкается по крутому откосу, усыпанному шлаком. Цепляется за чахлую, золотушную траву, прозябающую в нищете. И вот он уже на вершине, один на один с небом, как ледник, и кусачим ветром, который не приносит никаких ароматов.

Дрожат ноги, трясутся руки — боль ширится внутри, словно оглушительный волчий вой. Витольд снимает фуражку и преклоняет колени на металлических шпалах. Ветер захватывает в холодный кулак остатки волос. Торжественно гудит орган. Иоганн Себастьян Бах в мучительных конвульсиях рвется в небо.

— Это только начало или уже конец? — спра-

шивает Витольд, всовывая окостеневшие пальцы в рот, как когда-то, как неведомо когда.

И тут начинают ритмично постукивать рельсы, в этом есть что-то от бесшабашности перепляса. Во тьме, которая может быть и покинутой долиной, и дебрями укрывшегося в дожде города, раздается зычное мычание электровоза.

Витольд небрежно касается запавшего, трусливого живота.

— Мы убьем тебя преднамеренно, негодяй. Я тебя уничтожу прежде, чем ты сожрешь меня окончательно. Ты этого не предвидел. Прислушайся, приближается твоя смерть. Она мчит на встречу с тобой, задорно покрякивая осями, легкомысленно разгоняясь в веселом состязании с ветром. Ты этого не мог предположить? Мы положим тебя на серебряный рельс, от души прижмем всем телом, чтобы не удрал в последний момент. Прощай, паршивец, прощай, неумолимая самовлюбленная тварь, прощай, последний и единственный мой роковой друг.

* * *

Прямо перед собой он увидал глаза, подобные неведомой, вымершей планете. Это были глаза кота Магараджи, который пытался лизнуть его

в висок.

— Что случилось? — спросил.

Кто-то тяжело сел в ногах постели. Он узнал Леву в зеленой форме допризывника.

— Все нормально. Ты жив.

— А она?

— Она тоже жива.

— Где она?

— Лежит в Вильно, в гарнизонном госпитале.

Витек закрыл глаза.

— Слава Богу, — произнес он тихо. — Значит, Бог есть.

Левка наклонил к нему свое крупное, костистое лицо, испещренное черными веснушками. От его густых курчавых волос пахнуло овчиной.

— Может, и есть Бог. Ты ее пожалел, она тебя пожалела. И нашел вас Володко у реки спящими, как заблудившиеся дети из сказки.

— Неправда! Зачем врешь! — крикнула мать. — Они наелись белены по ошибке и уснули. Это несчастный случай, обыкновенная детская глупость.

Она стояла посреди комнаты в черном платье со старинными вишневыми четками в сплетенных пальцах. Из-под темного платка выбивались слипшиеся пряди поседевших волос.

— Белена еще не созрела, — буркнул Лева. — Но пусть будет по-вашему.

Только теперь Витольд заметил на столике у своей кровати подсвечник с погребальной свечой деда. Фитиль черен, длинные натеки стеариновых слез. Кто-то зажигал эту свечу минувшей ночью.

Мать подошла к кровати. Закрыла глаза, чтобы истово дочитать молитву. Однако горло перехватил спазм. И она склонила голову, стараясь пересилить дрожь.

— Не плачь, мама, — произнес слабым голосом Витек. — Все нормально. Говоришь, Володко нас нашел?

— Вас нашел, а себя погубил. Уже сидит в тюрьме и ждет суда.

— Витюнька, скажи, что это неправда.

— Что, мама?

— Вы забавлялись, как невинные дети. Лихо вас соблазнило отведать дьявольское семя. Там, у реки, полно его растет. Плоды колючие, как каштаны. Никто не предупредил вас, детки, что это страшный яд. Многие умом тронулись от этих черных зерен. А вы ведь только из любопытства, правда? Витюнька?

Тихонько запели разболтанные стекла в двой-

ных рамах. Со стороны города приближался скорый поезд, гогоча на всю долину. Паровоз приветствовал станцию продолжительным, сиплым свистом, как океанский лайнер.

— Она очень мучилась?

— Лучше о ней не спрашивай, — произнес кто-то. Витек с трудом повернул голову. На пороге комнаты стоял удивительно сократившийся в размерах Энгельбарт. — Ты больше ее никогда не увидишь.

— Говорят, говорят, а я ничего не слышу, никто мне ни о чем не рассказывает, — пожаловался из боковушки дед страдальческим голосом.

Мать поцеловала затертый крестик четок.

— Надо искупить грех. Ты должен стиснуть зубы и учиться, учиться до тех пор, пока не перегонишь всех и все будут тебе первыми кланяться.

Витек глянул в окно, залитое искрящимся пурпуром.

Снова заходило солнце. Еще раз заходило солнце.

— Мама, я провалился на выпускных экзаменах.

Мать, творившая крестное знаменье, задержала руку на полпути. Набожно прижала пальцы к высохшей груди. Попыталась улыбнуться, но

только с каким-то стоном растерянно оглядела собравшихся.

— Зачем пугаешь меня, сыночек? Зачем говоришь такие глупости? К чему гневить Господа Бога?

— Я действительно провалился на экзаменах.

А главное — мне все равно.

— Не слушайте его. Теперь он все будет говорить назло, — тихо произнес Энгель, который продолжал стоять в дверях на фоне заходящего солнца, багровый, словно призрак.

Витек оперся руками о край постели. Попробовал приподнять ужасно тяжелую голову и неповоротливое, как колода, туловище.

— Лежи. Спятил, что ли, — рявкнул Левка. — Чего тебе надо?

— Хочу выйти из дома.

— Выйдешь еще. Всю жизнь будешь выходить из дома.

А Витек уже рухнул на колени возле кровати. Хватаясь руками за воздух, тяжело поднялся с пола, который негромко потрескивал, остывая после жаркого дня. Заковылял к выходу в длинной рубашке, обшитой голубой тесьмой, и дедовых подштанниках, застиранных, ветхих, как сито, помнивших еще царские времена.

Витек отталкивался распростертыми руками от мебели, пропитанной теплом, накопленным за день. И снова зазвонили в деревянном костеле в Верхнем предместье.

— Витольд, — прошептал дедушка, когда он поравнялся с боковушкой.

— Все будет хорошо. Как ты себя чувствуешь, дедушка?

Старик поднял руку, похожую на куриную лапу, и обессиленно уронил ее.

— Больше о себе ничего не скажу. Сам видишь, что живой.

— И я живой. Буду жить сызнова. Другого выхода нет.

— Да, — вздохнул старик. — Надо жить, поскольку нет другого выхода.

На крыльце Витека бережно обнял липкий зной. Понизу уже стлался бодрящий запах ночной фиалки. Прозвучал последний, запоздалый аккорд благовеста, и колокол умолк до утра.

— Ну и что ты хотел увидеть, чудик? — пыхтел за спиной Левка.

— Все нормально, — шепнул Витольд. — То же небо, те же деревья. Та же долина. Нет, ведь это не долина. Это древняя пойма, которой мы дали грустное название «долина», чтобы было

красивее.

— Знаешь, Витольд, теперь я уже всегда буду тебя бояться, — проговорил изменившимся голосом Энгель. — Где ты был, когда тебя не было?

— Где был? Наверное, в беспамятстве. Хотя и там было плохо. Там я как-то все понимал, а теперь ничего не понимаю и уже не смогу припомнить.

— Ну, тогда смотри до упора на небо, на луга, на сады.

— А она?

— Лежит в госпитале.

— А она?

— Уедет отсюда навсегда.

— А она?

— Может, встретишь ее и при жизни. Может, догонишь, как собственную тень.

И вдруг, в этот вечерний час, весь мир наполнился каким-то болезненным воем. Вопили паровозы, на запасных путях и на магистральных, вопили фабрики, городские и пригородные, автобусы, называвшиеся арбонами, вопили дома. Великий плач расколол пепельное, мертвое небо.

— Что это? — спросил Витек, цепенея от ужаса.

— Учебная воздушная тревога. Третья со вче-

рашней ночи.

Вот так все это кончилось.